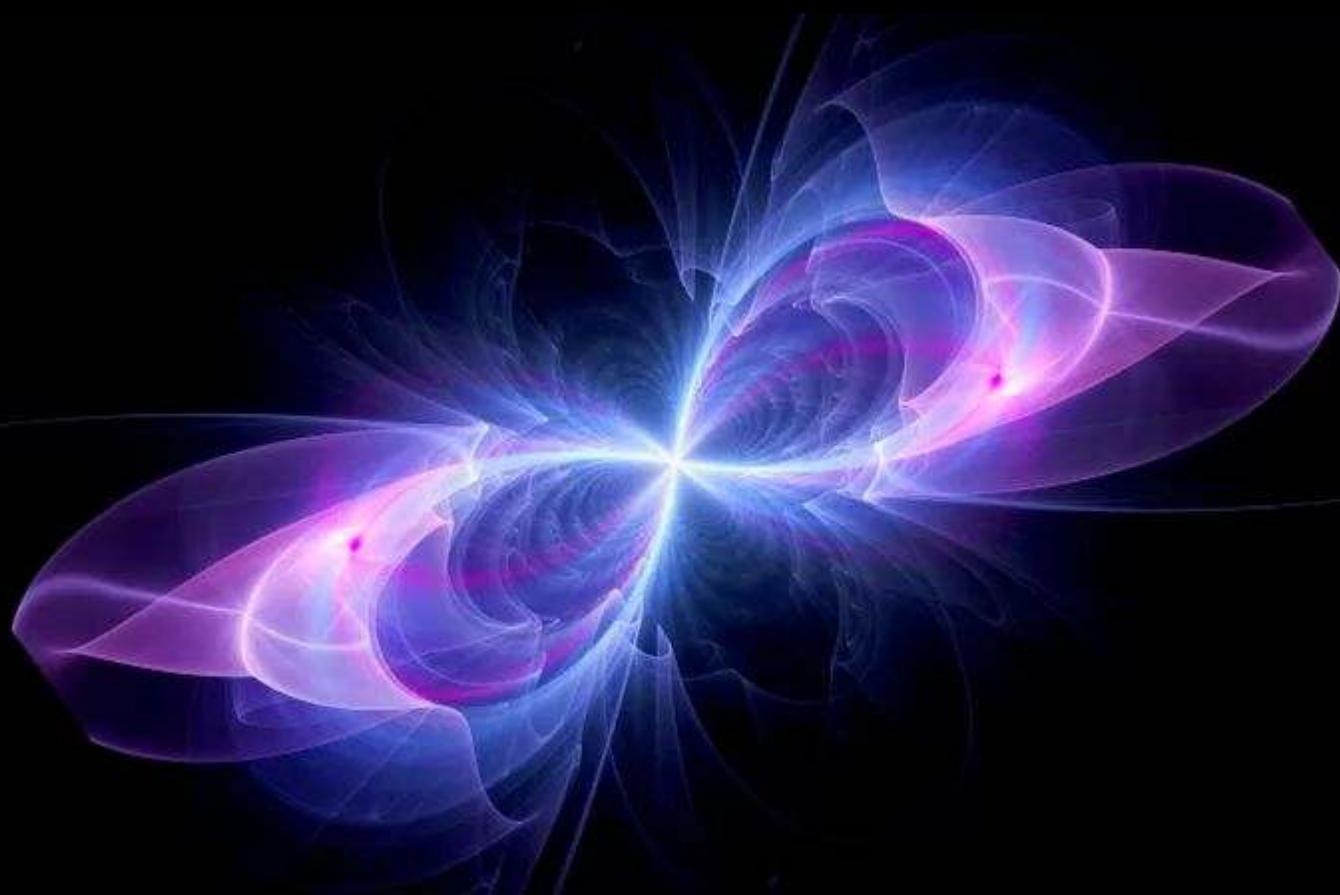


Алексей Л. Ковалёв

ОКТАВА



ОКТАВА

Окта́ва (от лат. *octavus*, «восьмой») – музыкальный интервал, в котором частота высокого звука в два раза больше низкого. Два звука, отстоящие на октаву, воспринимаются очень похожими друг на друга, хотя явно различаются по высоте.

1.

Вы спрашиваете: «Зачем всё это?»

И я, как будто понимая, о чём речь, отвечаю: «Пожалуй, мы этого не узнаем, пока не поймём – почему? Иногда кажется, что это один и тот же вопрос – если вы не Леонардо, который на первый вопрос пожимает плечами, а на второй отвечает: «Попалась на глаза одна девица».

Ему попадается девица, получается «Беатриче Д’Эсте», и мы немеем. Но пишет он её не за этим. И это всего лишь «Беатриче Д’Эсте». А есть ещё – целый мир, населённый существами, способными им восхищаться, любить, страдать, переделывать его, умирать, испытывать мгновения неизъяснимого блаженства и чёрного отчаяния, сложный до такой степени, что постичь его не представляется возможным. И удручённый своими несчастьями, человек спрашивает: «Зачем?». Если ему повезёт, нечто в традициях Леонардо ответит: «Потому что это прекрасно, и мне захотелось. Может быть вам незнакомо это чувство – неудержимое желание создавать прекрасное? Как жаль. Значит вам невдомёк, что не будь такого желания, не было бы и вас самих с вашим вопросом».

Так я, думая, что понимаю, о чём речь, мог бы ответить. Но и это, кажется, не ответ. Если у взрослого, широко образованного человека, даже верующего отчасти, возникает такой вопрос – почему он не приходит в голову мне? Я живу в этом мире на равных со всеми, никакой особой благодати удостоен не был, и чаще всего мы прекрасно понимаем друг друга, а на самом деле нас оказывается разделяет пропасть. Я не желаю оставаться в таком одиночестве. Я хотел бы, по крайней мере, объяснить, что удерживает меня от вопрошания «зачем», чтобы не казаться себе белой вороной.

Мне кажется, разница между двумя вопросами обнаруживает важную причину человеческого недоумения. «Зачем» – предполагает «для чего», цель, отсутствие чего-то, чего хотелось бы добиться или приобрести, и ничего ещё не говорит о движении или действии. Кроме того, в этом вопросе прячется сослагательное наклонение: хотелось бы, конечно, но если слишком дорого обойдется...

«Почему» – свидетельствует о присутствии побудительной причины, внутренней движущей силы, непосредственно переходящей в действие. Она может быть отвлечённой потенцией, ещё даже не связанной с определёнными целями, которые иногда формируются по ходу дела. Можно, например, представить её неустранимой этической необходимостью блага, нравственным требованием добра или совестью. Такая причина способна сама собой вызвать Бытие к существованию. Недаром в попытке осознать мироздание первым стоит вопрос: «Почему существует нечто, а не ничто?»

Утратив представление о такой потенции – или не сумев обнаружить в себе какую-то её разновидность – человек сводит свой горизонт к случайным желаниям, которые можно осуществить или не осуществлять, и которые имеют очень условное отношение к добру или благу. Мир становится запутанным и бесплодным, и у бескрылой души остаётся один, горький вопрос: «Зачем?»

Но таким ответом я загоняю себя ещё дальше от всех, кого, поспешив, непростительно назвал «бескрылыми душами». Этакая крылатая белая ворона.

И теперь меня уже поторапливают. Говорят – живём быстро, если хочешь что сказать – начинай и говори кратко, ибо времени мало.

Хорошо. У вас нет времени, я знаю. Всё, о чём я прошу – это восемь минут вашего внимания. Всего восемь минут. Вы только не верьте, что эта напасть свалилась на нас недавно, и что прежде можно было расслаживаться. Я ничего не сочиняю, я следую Декарту – четыреста лет назад, абсолютная монархия, никто не торопится. А он сказал, что мышлением можно заниматься четыре часа в месяц. Не больше. Поскольку это не в человеческих возможностях. Вот так. Можно в уме: в четырёх часах – двести сорок минут, стало быть, в день нам полагается думать – восемь. И всё. Каблук. Весь остальной день мы не мыслим, занимаемся чем-то другим. Если вы решаете проверить Декарта и продолжаете это занятие, думая, что думаете – вы обманываете себя и никаких мыслей не производите.

Вы можете сказать, что и это заявление было сделано не так уж давно. Тогда читайте Платона. И он жаловался на жуткий труд мысли... Мысль, мол, доступна человеку на пределе напряжения всех его сил. Так что временем мы ограничены с самого начала, и вопрос не в темпе, а в том, на что и сколь умело мы этот краткий просвет употребляем – то есть, если вообще его используем.

И получается следующее.

Например, мы хотим за восемь минут в день урегулировать общество. На основах чести, совести и достоинства. Вот они пред нами маячат, все три основы. А часы тикают. Семь девятнадцать, семь восемнадцать, семь семнадцать... Значит, прежде всего нам следует... Четыре одиннадцать, четыре десять, четыре девять... А! Вот что! Сначала и немедленно – образование. Одна три... одна две... И всё. Где-то тут витали... честь, достоинство... всё рассеивается. Звонок. До завтра.

Эхо ещё звучит: какое-то образование... что-то мы решили предпринять... Отдыхаем. Следующая сессия через двадцать четыре часа. Может, как-то подготовимся, обдумаем заранее? Нельзя. Декарт запретил – пустое, бесполезное будет занятие. Не тратьте времени.

Вот эти восемь минут я у вас и прошу. Три уже прошли.

Убедимся сначала, не произвольна ли эта цифра.

Число восемь не так нам знакомо, как семь или, скажем, девять. Тем больше оснований присмотреться: что это оно так уклоняется от наблюдения.

Мир, как нам оказалось удобным вообразить, был сотворён в семь дней, точнее – в шесть: на седьмой Творец уже отдыхал, пока мы приступали к освоению его творения, чем и занимаемся до сих пор. И этот библейский седьмой день всё длится и длится. Если когда-нибудь кончится и он, за ним должен будет следовать восьмой, октава первого. Но такого дня мы не знаем. Его номер существует в арифметике, но не в наших временных расчётах. Мы окончательно упёрлись в семёрку: семь нот, семь цветов радуги, семь чудес света, семь пар

чистых и нечистых, семь кругов Ада (Данте насчитал девять, но мы-то знаем, что смертных грехов – тоже семь), седьмое небо и так далее... Семь римских холмов, семь московских, ну, вы знаете. И назад – к первому дню седмицы.

Это если следовать законам явленного мироздания. Находясь в его пределах, ничего нового мы выдумать не можем, хотя сами были сотворены по образу и подобию, и нам предложено творение продолжать. Как – мы не знаем. Однако, кое-что там уже происходит: на восьмой день воскресает Иисус (нам привычен третий, но после Страстной недели это восьмой). Семья Ноя из восьми человек начинает новую попытку человечества – главным образом всякие чудеса. Но вот тот, кто объясняет свои шедевры тем, что увидел какую-то девицу... Мы ведь тоже смотрим на разных девиц. А ему она откуда-то так приглянулась, что вышло чудо. Может быть, оттуда.

И поскольку оказываться там ему приходится, не покидая текущего времени – с красками, кистями, холстом – удобно обозначить это состояние несуществующим в природе Восьмым днём. Нам даже кое-что внятное о нём известно. Вроде того, что частота чего-то там в два раза выше...

Вот и наш общий дом, Солнечная система, укромный уголок нашего обитания – ему бы в самый раз подчиниться звёздно-календарным расчётам, а он продолжает нам планетами своими напоминать: да восемь же, восемь... Ну, и математики, конечно, выбрали для обозначения бесконечности именно восьмёрку и, как бы особо подчёркивая важность этого символа, положили её набок, чтобы мы не прошли мимо, споткнулись.

Выходит, восемь – число многообещающее, не случайное.

Кое-что об этом должны знать наши художники, те кто откликается на предложение Создателя независимо от условий, и просто в соответствии со своим природным даром без усталости привносят в мир откуда-то нечто новое – «Дон Кихота», «Стабат Матер», «Божественную комедию», ту же «Беатриче». Но мы уже убедились, что даже если задавать им грамотный вопрос, в ответ получим какую-нибудь постороннюю нелепость: Сервантес наблюдал агонию какого-то старичка, Дворжак похоронил сына, Данте заглянул в колодец и так далее... Застанем их врасплох, на этот раз зададим вопрос в лоб, без церемоний: зачем они туда навешиваются, зачем нам нужны «Короли Лир»? То есть, если они иначе не могут – это их личное дело. Но какое отношение к нам имеет их неумолимая деятельность?

И Бетховен отвечает: «Если бы люди по-настоящему услышали мою музыку, они стали бы счастливы». О-о-о! Не удовольствие получили, не всплакнули, не порадовались, а прямо-таки обрели счастье! Чего-то мы, стало быть, не слышим.

Мы думаем, что художник ждёт от нас одобрения, похвалы. И он часто соглашается, что, может быть, и этого, как внешнего подтверждения его не-бесполезности. Но тут же кается, что это всё же свидетельство человеческой слабости, вечно остающейся неудовлетворённой, ибо находится она в области удовольствий, приятностей с обеих сторон. Ждёт же он от нас оказывается самостоятельных, не имеющих к нему самому отношения действий – усилия услышать по-настоящему. А мы таких усилий не предпринимаем, потому что незачем, потому что знаем, чего следует от искусства ждать. И вероятно заблуждаемся. Например, вот так:

Если ты замечаешь в одном из Рождественских стихотворений Иосифа Бродского слово «ихний»...

Морозное небо над ихним привалом
с привычкой большого склоняться над малым

сверкало звездой – и некуда деться
ей было отныне от взгляда младенца...

...и оно останавливает твоё внимание до такой степени, что вызывает потребность обсудить стилистическую небрежность автора, это значит, что ты ждал от стихотворения не того, что оно способно с тобой сделать; что ты – любитель поэзии, между прочим – подходишь к нему в специфическом контексте понятных, как тебе кажется, клише: бродский, христианство, нобелевский лауреат, стихи, грамотная речь (там можно наткнуться ещё и на «хужей» или «окромя») – то есть, уже заряженный тем, что отношения к самому стихотворению не имеет. И стих проходит мимо, ты его не слышишь.

Так часто бывает. Вовсе не потому, что мы не умеем воспринимать искусство, а потому, что не знаем, зачем оно нам, чего можно от него ждать. И берём то, что уже известно, что и так под рукой, что ничего не прибавляет ни миру, ни нам самим. Иногда нам может даже что-то понравиться, как красивое, остроумное, необычное, или пробудить некое волнение из-за сходных переживаний. Но это всего лишь повторение, без развития, не требующее внутреннего усилия.

Чтобы услышать стих целиком, вдохнуть его предгрозовую озонный воздух, нужно внутренне открыться, распахнуться, рискуя испытать сотрясение, а то и боль – тогда услышишь то, чего никак не ожидал, не мог ожидать, не знал о существовании такого, и не узнал бы без этой встречи. Нечто иное, «окромя ихних»... И если не обретёшь счастья сразу, по крайней мере убедишься, что оно есть, почувствуешь его истинный вкус. Художник признался, что ему было заповедано: «Глаголом жги сердца людей». Что же – сжигай-испепеляй? Согревай-утешай? Подогревай-весели?

Возжигай-воспламеняй. Часто причиняя мгновенную боль сопереживания, потрясения. Эта боль даёт возможность слышать. Когда вспоминаются слова «Искусство требует жертв», видимо следует иметь в виду, что оно требует их и от нас.

Творец и художник самой природой своей предназначены и обречены творить, нам же оставлена свобода выбора, которой мы охотно пользуемся, от жертв и творчества, себе на беду, уклоняясь. А настоящее наше место, которое ещё только предстоит занять, являет собой третью, последнюю сверху ступень в творческом содружестве Бытия.

Может быть – *затем*, чтобы на эту ступень подняться...

Вот теперь время истекло. Может быть завтра согласитесь ещё минут на восемь.

2.

Как прошёл день? Надеюсь, вам удалось исполнить то, что было необходимо, получить то, чего хотелось, и не понести серьёзных потерь.

А почему вы вернулись? Или вам всё ещё удобнее объяснить – зачем?

Значит, есть такая туманная, бесполезная идея, которая вновь и вновь овладевает умами то с большей, то с меньшей силой. Вот и мы в прошлый раз её коснулись. Идея о том, что видимый нами мир не вполне реален, что в основу его заложен какой-то настоящий, невидимый нами, где на самом деле всё и происходит, законы которого определяют всё наше существование и способны его объяснить и оправдать. Идея бесполезная, потому что уловить эти настоящие законы мы не в состоянии, а жить приходится именно в этом, видимом «ненастоящем» мире – вслепую.

Зачем же мы истязаем себя, вновь и вновь возвращаясь к представлению о том, что существует какая-то недоступная нашему постижению основа бытия, которую невозможно даже себе представить, так как она располагается за пределами данных нам способностей восприятия, вне времени и пространства? Да ещё на все лады стараемся её описать.

По одной единственной причине.

Эта основа время от времени властно даёт о себе знать – здесь, способами вполне очевидными, именно в пределах наших земных ощущений и переживаний. Чаще всего в тех случаях, когда мы по невежеству своему её законы нарушаем. Именно так: она не диктует нам, как себя вести, и, судя по всему, когда мы ведём себя прилично, мы даже самую эту основу создаём и укрепляем. Но стоит нам ошибиться, и расплата приходит неотвратимо, иногда противореча нашим представлениям о справедливости.

Наблюдая в течение долгой своей истории за исправлением этих многочисленных ошибок, можно было бы набраться ума, освоить витающие в вечности законы и научиться следовать им во имя собственного благополучия. Но догадываясь о некотором влиянии своих поступков на основы бытия – в счастливых случаях праведного поведения – человек не может побороть в себе искушения чуть-чуть подправить сами эти законы в угоду желаниям и страстям. Последние бывают весьма сильны.

Самые одарённые и проницательные умы, уловив это длящееся противостояние, сумели облечь его в образную, символическую форму трагедии. И соединив то, что мы узнали о важности произведений художественного творчества, с этим особым содержанием одной из его форм, можно попытаться понять, что же требует услышать художник.

Пусть это будет называться...

Попытка сопереживания трагедии

Мефистофель (К зрителям):

...В конце концов приходится считаться

С последствиями собственных затей...

Фауст. Часть 2

Если проскользнуть, не озираясь, сквозь роскошный вестибюль удовольствий и развлечений, мы сможем придвинуться вплотную к настоящему, основному событию искусства, ради которого и творятся его произведения, как особые инструменты, органы преображения, а проще говоря – созидания человеческой личности.

Яснее всего этот эффект воздействия на зрителя можно увидеть в связи с восприятием трагедии в том её понимании, которое создала древнегреческая культура. Эта же культура открыла явление диалектики или, по определению Сократа – майевтики, «искусства рождения». Смысл его в энергетическом феномене, когда из напряжения, создавшегося противоположно направленными силами (мыслями, идеями, чувствами), прямо из него не вытекая, рождается понимание – не той или иной ситуации, а лежащего в её основе смысла.

Вот этот феномен и призвано вновь и вновь возрождать искусство, в том числе искусство трагедии, где зритель поставлен в преимущественное положение по сравнению с действующими лицами – уникальное положение, позволяющее ему в полной мере испытать влияние этого напряжения и пережить просветление, называемое опять же греческим словом катарсис.

Актёры играют в этом процессе особую роль. Может быть, я ещё вернусь к ней, но пока мы будем иметь дело лишь с воображаемым представлением и его зрителем – или с доступной нам литературной формой трагедии и читателем.

Воспроизвести этот таинственный процесс можно только читая, слушая, смотря, присутствуя на самом представлении. Никакое описание, разумеется, не в состоянии этого сделать, но моя попытка не лишит вас такой будущей возможности по отношению к примеру, который я выбрал. А берусь я приблизительно описать этот процесс только в качестве намёка, приманки, одного из бесчисленных вариантов настоящего впечатления, и лишь постольку, поскольку мы часто обречены в таких встречах проходить мимо – как раз потому, что нам не совсем ясно, чего именно следует от произведения искусства ждать.

Да простят мне такую дерзость Софокл и многоуважаемые актёры.

Что мы знаем об Эдипе?

Очень многое. Можно наверно сказать – всё. Мы читали популярный пересказ мифа. Мы познакомились с трагедиями Софокла и Сенеки. Мы уже не увидим этих трагедий в их оригинальном воплощении на сценах Эллады. Но это, может быть, и не упущение. Потому что между древним зрителем этих представлений и нами лежит пропасть, и мы вряд ли смогли бы получить впечатление, на которое эти спектакли были рассчитаны.

Мы слышали о законах трагедии, которыми руководит Рок, хотя что такое Рок, нам трудно себе представить, помимо того, что это, видимо, какой-то высший закон (или несколько законов) преступив который, чаще всего по слепоте, ибо он не человеком написан и скорее всего нам неведом, мы вынуждены следовать неумолимой цепочке событий. Для древних, создававших мифы с участием Рока, это объяснение было лишним. Им достаточно было упомянуть о «роковой неизбежности».

Мы знаем даже больше чем следовало бы, так как знакомы с термином «Эдипов комплекс», придуманным Фрейдом для объяснения врождённого желания каждого мальчика убить отца и жениться на матери. Некоторым из нас известны ещё более утончённые и критические толкования этого мифа, отклоняющиеся от традиционного представления об упомянутом комплексе. Ещё один психолог, например, обратил внимание, что убивая встречного на перекрёстке, и не зная, что это его отец, Эдип никак не осуществляет якобы врождённого, даже бессознательного желания. А на Йокасте женится не только не зная, что это его мать, но и не испытывая к ней влечения, всего лишь получая её вместе с царством в награду за освобождение города от Сфинкса. Так что вопрос с комплексом остаётся открытым.

Но, изучив все подробности этой истории и даже их интерпретации, узнаём ли мы, что нам открывает миф? Мы ведь ещё не соучаствовали в нём, чтобы получить тот импульс к

внутреннему преобразению, для создания которого и были открыты человечеством такие инструменты.

А чтобы это произошло, нам необходимо вернуться назад к исходной точке, в которой Нам об Эдипе – ничего – не – известно.

Я слежу за часами, не беспокойтесь. Не задержу вас ни на секунду.

Из первой сцены мы узнаём, что город страдает от нескончаемого мора, а царь и жители ломают себе голову, ища спасенья.

О царе по имени Эдип нам становится известно, что он пришелец, которого жители возвели на трон в благодарность за то, что некоторое время назад он избавил город от какого-то другого проклятья, и что вместе с царством он получил в супруги вдовствовавшую царицу, Йокасту.

О прежнем несчастье сказано немного. Из отдельных подробностей мы догадываемся, что некое птицеобразное существо наложило на город убийственную дань. Эдипу же удалось каким-то образом фиванцев от этой дани освободить. Так его и называют, спаситель.

Нынешнее несчастье – уже второе, и оно тоже выходит за рамки обычных трудностей и неудач, где, как правило, нетрудно разглядеть причину – будь то каприз природы, устроившей неурожай и голод, зависть соседей, решивших пойти на вас войной, или простая случайность лишившая город царя, убитого при рядовой стычке. То есть, причина – либо природного и, стало быть, цикличного, обратимого характера и надо всего лишь потерпеть, либо она результат обычных междоусобиц, что тоже исправимо или преодолимо.

Здесь мы вот уже во второй раз явно имеем дело со вмешательством высших сил, и естественный выход – обратиться за разъяснениями к самим этим силам, то есть, к посреднику, оракулу. Что уже и предпринял мудрый царь, послав в Дельфы брата царицы.

Мы ждём его возвращения.

Тут легко кое-что пропустить, оставить без внимания, но повторяющееся испытание намекает на смутную тень неблагополучия, витающую над Фивами. «Тут что-то не так» – вот то первое мимолётное недоумение, которое начинает создавать напряг между внешними событиями и каким-то иным, пока нам неведомым смыслом. И даже кажущееся естественным решение просить совета у Оракула намекает на некий ущерб в бытовании сего местечка и состоянии души населяющих его жителей. Казалось, можно было бы фиванцам задуматься, покопаться в своей собственной жизни и попробовать отыскать глубоко засевшую причину всех этих недоразумений. Но простодушные жители Фив к этому не склонны. Они ищут помощи со стороны.

Дельфийский оракул открывает то, что, в общем-то, и так знает каждый житель города, но как-то не придал в своё время этому должного значения: граждане не потрудились не только наказать убийцу своего бывшего царя, но даже узнать, кто он такой.

Вот тебе раз!

Совет оракула – найти виновного и изгнать его из города...

Вот тебе и ещё раз! Его оказывается и искать далеко не надо.

Праздный, а лучше было бы сказать – «информированный» зритель, если и отвлекается на такого рода узелки и заусенцы, то в рамках простых причинных связей. В

этот момент ему кажется, что он вместе с участниками событий понял, что происходит, и он готов с увлечением следить дальше как разыграют актёры поиски преступника.

Но если, как это произошло с нами, мы продолжаем удерживать в памяти и следовать сердцем за прежними «заусенцами», внимательное зрение начинает улавливать, как корни происходящего с городом спускаются всё дальше в прошлое. И чем упорнее люди отказываются поглубже заглянуть в самих себя, тем плотнее они увязают в трясине текущих событий. Это и есть наше уникальное преимущество зрителя: удерживать одновременно две живые мысли, противоречащие друг другу на наших глазах.

Итак, жителям Фив и их царю Эдипу надо найти убийцу прежнего царя и изгнать его, чтобы, по рекомендации Оракула, спасти город от свирепствующей чумы. Расследование потребует некоторых усилий, поскольку ни у кого из граждан не сохранилось воспоминаний о прошедшем, кроме неясного слуха, что царь был убит разбойниками. Для таких запутанных случаев существуют прорицатели, к которым можно обратиться за разъяснениями. Есть такой прорицатель и в Фивах. Его зовут Тиресий, и царь за ним посылает.

Но явившийся Тиресий ведёт себя необычно. Вначале он вообще отказывается отвечать царю. Затем, выслушивая угрозы наказания за нежелание спасти город, отделяется смутными намёками, предупреждая властителя, что ему не понравилось бы то, что знает прорицатель, и что лучше бы он не настаивал. И наконец одаряет царя, хотя и сформулированными в общих словах, но обвинениями: «Ты виновник... Ты слеп и глух... Будешь изгнан... Ты сын и муж, и детям брат...».

И ещё раз – если в нас преобладает искушённый, «всё познаша», мозг «информированного» зрителя, здесь можно поставить точку. Недалёкие участники событий могут продолжать морочить себе голову, но мы-то уже знаем, что к чему, да? И можем продолжать смаковать очередную интерпретацию классики.

Однако, для Эдипа всё это звучит как косноязычный бред. К тому же прорицатель ещё и слеп, что не прибавляет его словам убедительности. Надо же поставить себя на место Эдипа и слушать его ушами.

И это очень важно! Я упомянул об «информированном» зрителе, и тут мы вплотную приблизилось к решающему парадоксу: если вы продолжаете сохранять в памяти ваши знания о мифе – вам больше нечего делать в зрительном зале, вас ничего здесь больше не ждёт. Тут-то и вступает в силу магический дар актёра, способного заставить вас «надеть его башмаки», забыть о том, что вам, якобы, известно, вступить в реально совершающуюся на сцене цепочку событий, отнюдь не предполагающую определённого (известного вам) исхода. Это требует некоторого усилия и может показаться опасным бездумием, рассеянием внимания, состоянием беззащитности... Как это – отказаться от того, что я знаю, к чему привык? Но это – единственный способ испытать откровение трагедии. Рискните. В конце концов, вы ведь не более беззащитны, чем сам, давно почивший Эдип, ещё менее беззащитны, чем играющий его актёр, и совсем не беззащитны, находясь по эту сторону рампы.

А с точки зрения Эдипа существует вполне разумное объяснение этой явной клевете – козни брата царицы, Креонта. Это ведь он был послан в Дельфы и принёс совет Оракула, и

именно он советовал обратиться к Тиресию. Что ж, Эдип – царь, политик, такого рода государственные интриги не редкость.

Время вышло, и нам пора остановиться. Антракт. У вас, правда, есть выбор: задержаться ещё немного или отложить на завтра. Я бы рекомендовал перерыв. Так, по крайней мере, мы сохраним уважение к установленным нами правилам и друг к другу.

3.

Зачем читать или смотреть трагедию «Царь Эдип»? Ответа на этот вопрос мы пока не знаем. А вот на вопрос: почему мы её читаем и смотрим, ответ может быть один – потому что Софокл её написал, а театр поставил.

На Эдипа возведён чудовищный поклёп, единственным объяснением которому может быть только политическая интрига.

Заговор – не шутка. Как бы разумно и основательно ни объяснял Креонт абсурдность такого предположения, подозрение этим не снимается. Однако, нет и доказательств, и невинный брат царицы всего лишь изгнан, изъят из уравнения – пока.

Но и главный виновник бедствий города всё ещё остаётся нераскрытым.

Озабоченность царя вызывает тревогу жены, она вынуждает его поделиться с ней своими заботами, и в этой беседе всплывают ещё несколько подробностей давних происшествий.

Стараясь успокоить мужа, Йокаста призывает его не слишком верить ни словам прорицателей, ни пророчествам – они, как правило, не сбываются. В качестве примера она рассказывает о том, что Лаю, первому её мужу, было предсказано, что он погибнет от руки сына. А меж тем, убит он был какими-то разбойниками по пути в Дельфы. Родившийся же у них сын был сразу отнесён далеко в горы, оставлен там и погиб.

По тому, как подробно спрашивает Эдип жену о деталях гибели Лая – о месте, времени, о его внешности, количестве его спутников и повозке – и по его непроизвольно вырывающимся реакциям, мы понимаем, что всё это вызывает в нём тревогу. Он даже вскользь высказывает предположение, что, возможно, слепой прорицатель был отчасти прав.

Мы видим царя в смятении, но ещё не знаем, чем оно вызвано. Он же требует отыскать того единственного свидетеля ссоры, которому удалось спастись бегством и остаться в живых. По словам царицы, он жив и теперь и пасёт стада вдали от столицы. Он оказывается сам попросил отправить его туда, узнав что новым царём стал Эдип.

Странно... Эту подробность тоже легко пропустить участникам событий, увлечённым и даже взволнованным их развитием. Но не нам, кто – не правда ли? – слышит больше, чем по капле отпускает нам сюжет. Мы тоже не знаем, что это была за вздорная просьба пастуха, но подробность эта как-то странно торчит поперёк связного рассказа царицы. Не начинаем ли мы всё отчётливее различать гудение какого-то высоковольтного провода, хотя участники событий продолжают мерить их привычными, знакомыми мерками. Я напоминаю: мы ещё очень мало знаем, чтобы делать выводы. Важно только не упустить из внимания этот, едва слышимый пока гул.

Эдип требует вернуть пастуха, и отказывается объяснять причины своего беспокойства, пока не увидится с ним. Но царица настойчива в своём стремлении развеять тревогу мужа и продолжает спрашивать его. И тогда царь делится с ней своей историей, доселе неизвестной и нам с вами. Только теперь мы узнаём, кто такой Эдип.

Родом он оказывается из Коринфа. А в Фивы его привело благородное решение: смущённый намеками неких бесцеремонных сограждан на то, что он приёмыш в царской семье, он не удовлетворился уверениями родителей – царя Полибия и царицы Мeroпы – и

обратился к Оракулу, который намёков не подтвердил, но предупредил, что ему суждено убить отца и жениться на собственной матери.

До чего же оракулам понравилась эта дикая идея отцеубийства, которую они упорно пытаются внушить любому, кто ни спросит.

Вот ужаснувшись такой судьбе и всеми силами стараясь её избежать, он и оставил царский дом, где его тоже ждало престолонаследие.

Наш лукавый мозг, испорченный чтением детективов, может легко начать связывать концы – и свяжет, пренебрежительно усмехаясь тугодумию архаичных действующих лиц. Но это и будет та самая кичливая лингвистическая чувствительность, мешающая услышать стих. Даже простая жизнь, с её необъяснимыми поворотами не укладывается в рамки детектива. А здесь речь вообще не идёт о преступниках, скрывающихся от правосудия. И, право, лучше было бы сразу отмахнуться от этой пустой привычки. А если ваш мозг всё-таки требует работы, задумайтесь вот о чём:

Откуда всё же эта слепая вера в предсказания? И полное отсутствие веры в собственные возможности? Ну, допустим человек не готов ещё рассматривать предупреждение высших сил, как простое испытание, он, в сущности, видит себя готовым любое предсказание исполнить. И, тем не менее, каким-то неуклюжим образом пытается этого избежать. Значит где-то в тайниках души гнездится сомнение в неизбежности рокового исхода? Но почему бы тогда не встретить испытание лицом к лицу, в присутствии любимых родителей, тем более, что предупреждённый будет вести себя гораздо более осмотрительно? А если посвятить в предсказание и их, то осторожность усилится вдвое.

Какой-то мгновенный панический страх лишает человека способности трезво мыслить. Knee jerk reaction – дрожь в коленках. Внезапный и неуправляемый испуг – он длится всего секунду, ничем по существу не обоснован, но может определить твоё поведение – и судьбу – на всю оставшуюся жизнь.

И ведь с фиванским царём и его супругой случилось буквально то же самое!

Мы не успеем обо всё этом связно подумать, поспеяв за развитием действия, но в сжатом виде, в смутном ощущении эти размышления продолжают присутствовать в нас, пусть не совсем осознанно.

Исповедь Эдипа продолжается. В результате скитания его завершили в Фивах, но по дороге случилось досадное столкновение со вздорным и вспыльчивым встречным путником, который первым развязал рукоприкладную ссору, требуя уступить ему дорогу, и в потасовке был убит. И уж очень все приметы (изложенные царицей) указывают, что этот встречный мог быть царём Лаем. Почему и необходимо расспросить злополучного пастуха, чтобы либо в этом убедиться, либо вздохнуть с облегчением.

Получается, что вероятность вины весома. И Эдип готов нести наказание в форме ухода с престола и изгнания. Но пока это всего лишь вина убийства, до некоторой степени оправданного необходимостью самозащиты. Чего он по-прежнему боится более всего – это предсказанного ему Оракулом отцеубийства и кровосмесительства, а чтобы этого избежать, достаточно лишь не возвращаться домой, в Коринф, и не встречаться с родителями.

По обычным меркам события разворачиваются терпимо. Окончательное слово о вине Эдипа ещё не сказано. Мы его ждём. Но даже если вина подтвердится, это будет всего лишь вина в рядовом убийстве – что по тем временам не редкость. Зато бремя проклятия, висящего

над городом, будет снято, Эдип отнюдь не склонен оспаривать приговор Оракула и готов смириться с возможным изгнанием.

Так видят ситуацию её участники. У нас же есть редкое преимущество активного свидетеля: в нас продолжают одновременно вибрировать несколько впечатлений, ускользнувших от внимания непосредственных действующих лиц. Мы тоже не знаем ещё полной правды, но начинаем догадываться, что за поверхностью событий скрывается какое-то иное, настоящее бытие, и что именно его законы этими событиями управляют. И с этого момента мы начинаем переживать не столько судьбы героев, сколько напряжённое противостояние двух могучих сил, энергию трагедии.

Внезапно является новое нежданное лицо – вестник из Коринфа. Там события следовали своим чередом, и царь Полибий умер своей смертью. Вестник же принёс просьбу коринфян к Эдипу вернуться домой и по праву занять освободившийся трон.

Вот как будто ещё одно подтверждение мнения царицы Йокасты, что не следует доверять предсказаниям – опасения Эдипа были напрасны, его отец умер сам, без его участия.

Однако, для осторожного Эдипа остаётся действующей вторая половина предсказания: его мать, вдова Полибия Мeroпа жива, и ему следует держаться от неё в стороне. Но у посланца коринфян есть для него ещё одна новость. Да, Эдип считается законным сыном и наследником царской четы, но он – не их кровный сын. Он не был рождён Меропой. Сам этот посланник был некогда тем пастухом, который принёс во дворец ребёнка с ранами на ногах – из-за которых ему и дали имя «эдип», «опухшие ноги» – и дитя было усыновлено царём и царицей ибо они были бездетны. Так что Меропы бояться не следует, Эдип – не её сын.

Но откуда же взялся этот несчастный ребёнок? Тогдашний пастух принял его от незнакомца, который кажется называл себя слугой царя Лая.

Узлы стремительно распутываются, и события соединяются в связную историю, какой бы ни казалась она отвратительной?

Но Эдипу кажется, что не хватает одной, последней точки – её сможет поставить тот, кто уносил ребёнка в горы из Фиванского дворца. Он скажет, чей приказ выполнял, и кто были родители ребёнка. Совсем не обязательно, чтобы он оказался сыном царской четы. Это мог быть какой-то случайный и нежелательный ублюдок...

Теперь Эдипа не смутило бы и собственное низкое происхождение.

Всё это конечно совпадает с признанием самой Йокасты о данном им с мужем предсказании и их решении избавиться от ребёнка. Но по-видимому Эдип этого не помнит в данный момент, и немудрено – напряжение противоборствующих сил достигло высшей точки. Гул становится оглушающим. А человек сохраняет устойчивую неспособность или упорное нежелание взглянуть внутрь себя самого. Хотя ещё в разговоре со слепым прорицателем Тиресием Эдип слышал: «Меня коришь, а нрава своего не замечаешь...». И ещё: «Хоть зорек ты, а бед своих не видишь...». Он не знает, не может себя заставить. Слишком страшно.

Первой правда открывается Йокасте, которая в последней попытке спасти их обоих уговаривает мужа не докапываться до истины о своём происхождении. А потерпев поражение, прощается с ним и, как мы вскоре узнаем – кончает с собой.

И вот на сцене последний свидетель. Пастух, который в своё время унёс из дворца младенца и передал его в руки другого пастуха. Они узнают друг друга. Оказывается к тому же, что он и есть тот самый спасшийся спутник царя Лая, принёсший весть о его гибели, за которым посылали ещё раньше. Двойной свидетель. Конечный удар трагедии. «Ты – сын Лая. Йокаста, твоя мать отдала тебя мне, боясь пророчества, велела умертвить. Пожалел, отдал чужому пастуху, вот этому».

Не могу удержаться, чтобы не привести последние короткие, стремительные слова этого диалога:

- Ребенком Лая почитался он...
- Но лучше разъяснит твоя супруга.
- Так отдала тебе она младенца?
- Да, Царь.
- Зачем?
- Велела умертвить.
- Мать – сына?
- Злых страшилась предсказаний.
- Каких?
- Был глас, что он убьёт отца.

Где тут последний поворот ключа, распахивающий бездну отчаяния? Конечно вот здесь: «Мать – сына»?

Теперь лишнее даже подтверждать, что случилось на перекрёстке трёх дорог.

Вот и всё.

Эдип покорно несёт мучительное наказание – душевное, и физическое. Ещё до того, как быть изгнанным, он сам себя ослепляет, как будто приводя в соответствие свою плотскую природу с поразившей его некогда внутренней слепотой.

Если вам повезло, вы пережили серьёзную встряску. Может быть это можно сравнить со зрелищем столкновения двух пассажирских поездов. Время помолчать.

И может быть спустя несколько дней, а то и недель, вы обнаружите, что чуть иначе стали смотреть на некоторые вещи.

Сегодняшние восемь минут мы, однако, исчерпали.

4.

Вопрос «зачем» люди совершают те или иные поступки настолько прост, что для ответа на него трагедия не нужна. Она не отвечает и на вопрос «почему», но вполне неожиданный ответ может прийти как озарение тем, кто соглашается пережить её катарсис.

О том, что нарушившего некий высший закон, даже по неведению, ждёт неминуемая расплата, мы, в общем-то, догадываемся интуитивно ещё и до этого опыта. Трагедия передаёт нам знание о том, о чём мы не можем догадаться. Но может быть, не следует спешить, называя это знанием – оно не из тех знаний, которые легко удержать в памяти, и вскоре покинет нас. Мы можем только вновь и вновь обретать его, отдаваясь в объятия трагедии – или иного опыта, предоставляемого искусством. Есть и другие пути, но этот самый доступный и, говоря откровенно – наиболее щадящий.

Преступление Эдипа – не его прямая вина. У него были соучастники.

Мы уже коснулись странного, противоречивого отношения человека к предсказаниям. Сначала он слепо верит им, нисколько не сомневаясь, что они исполнятся. А затем всё же пытается ускользнуть от их исполнения своими примитивными средствами. Так поступил в своё время Эдип, сбежав от родителей. Но то же самое проделали властители Фив, решив убить своего ребёнка.

Конечно подобное предсказание – вещь пугающая. Возможно, вообще следует избегать таких заглядываний в будущее. Но раз уж тем или иным образом ты с этим предсказанием столкнулся – так ли следует обращаться с провидением, с жизнью, с самим собой?

Может быть правильнее работать с провидением на том высоком уровне, которым оно определяется, а не бороться с ним практичным своим умом и примитивной сообразительностью. Да, что бы ты ни делал на свой лад – ты не выйдешь из рамок провидения, потому что тебе не дано видеть целостную картину мира. Но если найдёшь силы стать с ним вровень, может быть удастся его исправить, прожить предсказание по-своему или раскрыть его инносказательный смысл.

Убийство собственного ребёнка – не менее тяжкое преступление, чем будущее, гипотетическое убийство им своего отца, которое ничем не обусловлено, кроме намёка Оракула. Уж не говоря о просто убийстве, на котором лежит вечный запрет для человека. И это может показаться первым из откровений трагедии: преступление нельзя разрешить преступлением. Однако в трагедии – несколько действующих лиц. И каждому предоставлена возможность изменить её ход.

Надо-то было всего лишь удержать дрожь в коленях, понадеяться на свои силы и мудрость родителей и остаться в Коринфе. Он не встретил бы отца и не убил бы его. Не попал бы в Фивы и не женился бы на матери. И в Коринфе всё образовалось бы, потому что там-то никакой угрозы на самом деле и не было – это были не его родители. Но для этого необходимо было собрать волю и встретить пророчество лицом к лицу. Кто-то когда-то должен был это сделать.

Кто-то, вместо того чтобы ускользнуть, должен взять всё на себя, как и положено человеку. Начиная с Лая и Йокасты, решивших убить сына и в результате не столько исполнивших свою роль в трагедии, сколько бездумно её запустивших. Неизвестно, как развивалась бы судьба преступных родителей, если бы Эдипу удалось удержаться и изъять себя из этой трагической коллизии. Возможно их ждала какая-то иная расплата, и это стало бы сюжетом другой трагедии, с другим именем в названии.

До поры до времени у Эдипа оставался шанс. Потом было уже поздно.

И трагедия (как и сам миф), со всей убедительностью излагающая ход событий, попавших в сферу влияния так называемого Рока, неумолимого сцепления внутренних и внешних причин и следствий, вызывает в нас неожиданное осознание, прозрение о скрытых возможностях человека, не используемых им. Это чувство не является прямым результатом столкновения противоборствующих сил – оно вообще располагается вне коллизии и приходит к нам из Восьмого дня, как наитие.

И, скорее всего, вновь затуманится, ослабеет посреди захватывающих нас ежедневных дел.

Позднее, наше растревоженное этими переживаниями сознание, оставаясь в состоянии поиска обнаружит, что тема отцеубийства и сыноубийства или самоизгнания детей, как попытки его предотвратить, устойчиво присутствует в мифологии самого начала, с космогонии, мифа о сотворения мира. И первым преступником был сын основателя вселенной Урана Кронос, пожиравший своих детей сразу после рождения, стремясь избежать предсказанной ему гибели от сына. Потом этот сюжет повторяется у греков много раз в разных вариантах. Избежать рокового исхода, как правило, никому не удаётся.

Откуда взялась эта настойчиво внедряемая мифом идея? Что за неустранимая сила присутствует в природе, побуждающая сына погубить отца, и есть ли такая сила? Есть. Но только содержится она в природе совсем не в такой радикальной форме, какую на первый взгляд предлагает миф, всего лишь побуждающий нас задуматься о самих себе.

Речь идёт не о сознательном и волевом преступлении отпрыска, а о том, что самим возникновением и существованием своим он предопределяет продолжение жизни и рода, уже не зависящее от родившего его предка. Он как бы свидетельствует о том, что функция родителя выполнена, и жизнь в его участии, в общем-то, более не нуждается.

Но это лишь одна, внешняя, биологическая сторона бытия. Ещё одним, более житейским её проявлением может служить хорошо известное противостояние отцов и детей. Для ранних времен человечества, когда идея рода ещё преобладала над более поздними идеями общества и личности, эта тонкая насмешка природы могла будоражить воображение и породить самые крайние представления. Но демонстрируя её в такой острой форме, миф лишь испытывает человека, бросает ему вызов: «Такова природа. Согласен ли ты подчиниться её законам? Или берёшься противопоставить им иные ценности, более соответствующие твоему положению и роли в мироздании?»

Надо помнить, что все эти инструменты познания никогда не дают советов и не диктуют правил. Они лишь стимулируют человека к внутренней работе принятия решений. И следующий такой инструмент, трагедия, открывает нам, что происходит, когда человек подчиняется природе, безоговорочно принимая предсказания оракула. Оракул говорит языком мифа, это ещё не Рок.

В этом смысле Рок – это, с одной стороны, в самом деле неотменимый закон, которому приходится следовать, но с другой – это закон не природный, а гораздо более высокого уровня, его не следует пугаться, и лучше обращаться с ним грамотно.

Особенностью греческой трагедии является ещё и то обстоятельство, что разрешение не становится полным её исчерпанием. Сюжет до некоторой степени восстанавливает справедливость или равновесие – и этого оказывается достаточно для переживания некоего

разрешающего катарсиса, – но ситуация остаётся чреватой новым развитием уже случившихся нарушений высшего закона.

История Эдипа, например, не завершается его ослеплением или изгнанием, и даже смертью. У него есть четверо детей, рождённых в преступном браке, и им не суждено выпутаться из трагической последовательности событий. Трагедия Эдипа продолжается гибелью его сыновей и переливается в трагедию дочери, Антигоны, а затем – Креонта, теряющего единственного сына. Смерть Медеи оставляет неразрешённой судьбу Язона, у которого на совести соучастие во всех её преступлениях и измена ей самой. Настоящая сущность трагического в жизни человечества, конечно же не должна сводиться к подобной веренице бед.

Но представим себе такое положение, где универсальное столкновение объективных действующих в мире начал пробует свои силы на могучей и глубокой индивидуальности. Вот объявился герой, который находит в себе силы встретить Провидение лицом к лицу. Что может произойти с таким персонажем, оказавшимся внутри трагического конфликта?

Усваивая уроки «Эдипа», человечество готовилось к ответу на этот вопрос в течение двадцати одного столетия, успев приобрести и некоторый иной опыт.

Первое преступление – братоубийство, восходит к библейским Каину и Авелю. Но там кроме Адамова семейства первых людей не было, так что в основе своей и общем значении это просто человекоубийство. И – первый абсолютный и недвусмысленный запрет на него. Дальше начинается уже человеческое отступление от первооснов и хитроумная дифференциация: братоубийство, матереубийство, отцеубийство и просто убийство, и возникает невыносимая сравнительная шкала преступлений: тяжелее-легче, а суждение о самом убийстве постепенно сползает от «нельзя» к «нехорошо». (Ещё несколько столетий, и возникнет массовое убийство, которое пока всё ещё «нельзя», но нет никаких оснований полагать, что и оно со временем не сможет уложиться в простое порицание – «нехорошо». Например, в связи с возможностями современного оружия, иногда используемого в справедливых целях).

Русский философ усомнился во внутренней необходимости Гамлета так сильно верить в уже пережитый высшим сознанием человеческим, нехристианский закон кровной мести. Он счёл это обстоятельство случайностью, произвольно внесённой автором. И при этом он столь же справедливо замечает, что даже если допустить в Гамлете эту случайную архаическую силу, трагедии все-таки не получается: то есть, в этом случае Гамлет прямо исполняет свой мнимый долг, убивает злодея-узурпатора, занимает по праву престол, и это всего лишь частная драматическая коллизия. Или, если угодно – предлог для развёртывания новой трагической коллизии, так как по высшему закону убийство само по себе не может восстановить связь времён.

И по мнению философа, кроме случайной веры Гамлета в закон кровной мести, для трагедии требовалось еще одно условие – неспособность Гамлета исполнить вообще какой-нибудь закон, необходимость оставаться только мыслителем, а не деятелем, одним словом – требовался определённый человеческий характер.

Мы сталкиваемся здесь с относительно новым делением трагедии на два рода: древнюю трагедию общей необходимости и новую трагедию индивидуального характера. Вот как раз индивидуальный характер нас сейчас больше всего и интересует. А именно – сильная индивидуальность, способная удержать дрожь в коленках, встретившись со своей трагической

судьбой, как общей необходимостью. Здесь нет никаких двух родов, это всё та же трагедия. Только герой её попрос и возмужал.

Я взялся объяснить, почему не стоит задаваться вопросом «Зачем это всё?», а мы уже миновали художественное творчество, греческую трагедию и въезжаем в Шекспира. Но я не обещал уложить объяснение в несколько минут. Я попросил у вас не больше восьми минут в день, и слово своё держу.

Если вы ухитряетесь задержаться на шестнадцать или даже на двадцать четыре – мне понятно ваше нетерпение, хотя, честно говоря, я сомневаюсь в пользе такого расточительства и не рекомендую вам это делать, как Эжен Ионеско не советовал вставать к произведениям искусства в отношении музейного хранителя и видеть в них красивые предметы: «Сделайте всё, чтобы эти предметы, обращающиеся к самой глубине вашего существа, чтобы все эти загадочные лики стали для вас самой мучительной, самой поработавшей, самой освободительной проблемой вашего человеческого и душевного опыта», - говорил зачинатель театра абсурда.

Пусть это будет самой большой из ваших проблем – это уже я добавляю.

Слова Декарта остаются в силе, и лучше бы нам не рисковать.

5.

Драматические произведения тоже забирают наше внимание частями. И хотя продолжаются споры о том, разбивал ли Шекспир свои пьесы на акты, поскольку современные ему печатные их издания такого деления не содержат, есть убедительные доводы, что антракты в представлениях театра Глобус имели место и отнюдь не из-за необходимости пополнять заработки за счёт буфета.

Время сценического представления не совпадает с обычным механическим временем, отчего у зрителей возникает иногда ощущение, что они и не заметили, как пролетел акт. Так что можно, я думаю пренебречь разницей между восьмиминутным размышлением и стремительным часовым действием. А принцип здесь тот же самый – не стоит переоценивать наши возможности восприятия. И в то же время (никуда от этого каламбура не деться!) лучше относиться к этим фрагментам с предельным вниманием.

Я позволю себе пренебречь характеристикой шекспировского героя как мыслителя, а не деятеля, и взамен предложить уже освоенный нами, единственно возможный путь знакомства с «Гамлетом»: отказ от любых предварительных знаний о сюжете и лишь сопереживание его с начала до конца.

После завязки, лежащей за рамками пьесы – преступления, разрыва времён – открывается множество путей развития истории, столько же, сколько людей оказывается вовлечёнными в неё. Участники могут с большей или меньшей силой ощущать трагическое тяготение или вообще не принимать его в расчёт, но по неумолимым законам первооснов мироздания «разорванное время» рано или поздно должно быть восстановлено. И возникает вопрос: кто какой путь изберёт, кто какой вклад внесёт в неизбежный ход событий своим неразумным, слепым или самонадеянным пониманием ситуации.

Поскольку датский принц оказывается в самом центре событий, собственная судьба его представляется незавидной, опасной и – неизвестной.

Следить за его поведением, а тем более «влезть в его башмаки» труднее, чем в случае с классическими героями. Довольно простые действия, которые он предпринимает с того момента, как мы вместе с ним узнаём правду, совершаются им каким-то усложнённым, запутанным способом. Как будто инстинкт диктует ему уклоняться по возможности от недвусмысленных поступков или, по крайней мере, создавать такую двусмысленность. Это начинается сразу же после свидания с Призраком – то есть, как только он понимает, в каком положении оказался.

До этого он прям и прост, и в первом появлении своём на королевском совете даже настаивает на отсутствии какого бы то ни было притворства – печаль его велика, но ему нечего скрывать.

Ни этот

Суровый плащ, ни платья чернота,
Ни хриплая прерывистость дыханья...

.....

...и все подразделения

Тоски не в силах выразить меня.
Вот способы казаться, ибо это
Лишь действия, и их легко сыграть,
Моя же скорбь чуждается прикрас

И их не выставляет напоказ.

В придачу к утрате отца он потрясён глубочайшим недоумением в связи с необъяснимым, поспешным браком матери. И его смущает предчувствие какой-то загадки в произошедшем. Но он откровенен – настолько, насколько позволяют приличия, а первый монолог его весь посвящён лишь непостижимости поведения королевы.

Предельно прост он и в первой встрече с Горацио и солдатами. В долгих подробных расспросах о внешности Призрака – даже дотошен:

- Где он проходил?
- В оружье?
- До пят?
- И вы не видели лица?
- Хмурил брови?
- Он был бледен иль раскрасневшись?
- И не сводил с вас глаз?
- Он долго пробыл?
- С седою бородой?

И даже перед самой встречей с Призраком он совершенно бесхитроsten в диалоге с Горацио и Марцеллом.

Всё это решительно меняется после беседы с отцом. Речь его наполняется иносказаниями и отказом от прямого общения.

Если вас стремительно втянуло в могучее силовое поле трагической коллизии, наверно необходимо хоть какое-то время, чтобы положение своё осознать, но такой роскоши ему не предоставлено. Действовать приходится немедленно – прежде всего отвечать на вопросы. В отличие от Эдипа, ему всё известно, он понимает, что столкнулся с неизбежным, а вместо предсказания о том, что когда-нибудь с ним ещё произойдёт, оракул в лице Призрака диктует ему, что надо сделать.

Непосредственная его реакция, выраженная в словах «...в книге мозга моего пребудет лишь твой завет, не смешанный ни с чем...», как будто даёт нам ясное представление, чего следует ожидать далее.

И так легко пропустить другие слова, которые предваряют это обещание: «...я с таблицы памяти моей все суетные записи сотру, все книжные слова, все отпечатки, что молодость и опыт сберегли...». Но это – совсем другого рода действие! Такой отказ от прежней жизни, от самого себя даром не проходит. Им-то и определяется его новое состояние. Разом освободившись от усвоенных, знакомых представлений, он открывает своё сознание Бытию, и оттуда поступает новое, неведомое прежде знание, которое подсказывает, что раз в действие приведены исходные силы самого Бытия, привычные человеческие реакции и поступки тут не только неуместны, но сами по себе могут оказаться роковыми. Призрак – ещё не Рок, это всего лишь одно из действующих лиц, хотя и вызывающее наибольшее доверие.

Прислушайтесь внимательно, как принц в течение следующих нескольких минут справляется с этим неожиданным, перевернувшим весь его мир ощущением:

Вот он уже поклялся небом. И вдруг возвращается к характеристике своих противников: «О, пагубная женщина! – Подлец! – Улыбчивый подлец, подлец проклятый!».

Зачем? Разве это нуждается в подтверждении? Или ему нужно ещё больше себя распалить? Но почему?

Более того, он вдруг вспоминает о своём дневнике и записывает пришедший в голову пустяковый, в общем-то, парадокс. А затем вновь: «Я клятву дал»!

Он как будто напоминает сам себе о своём решении. Как если бы что-то мешало ему в нём утвердиться. И даже несколько мгновений спустя, уже слыша (или ещё не слыша?), как его окликают друзья, вновь сам себя убеждает: «Да будет так»!

Такое ощущение, что мозг его лихорадочно выбирает, что следует предпочесть. Лишь диссонирующий с ситуацией клич соколиной охоты: «Илло, хо-хо, мой принц!», которым зовёт его Марцелло, помогает ему прийти в себя и одновременно подсказывает способ поведения. Его первое решение – отодвинуться от самого себя, быстро нахлобучить какую-нибудь личину, действия которой не будут иметь для окружающих прямого отношения к ситуации, и в любом случае смогут выглядеть сомнительными.

Второе – сохранить в полной тайне причину такой перемены, чего он и требует безоговорочно от двух единственных свидетелей.

Хочу ли я сказать, что именно этому внутреннему процессу становится свидетелем зритель? Нет. Но процесс этот внешне выражается в необычном, непонятном поведении, а его зритель видит. И это становится первымстораживающим сигналом – каких мы наблюдали немало в развитии действия трагедии «Эдип», свидетельством присутствия какой-то невидимой, но могучей силы.

И вот давайте представим себе неведомого нам прежде героя, способного глубоко и отчётливо осознать и неизбежность этого трагического тяготения, и несовершенство человеческого разума, склонного по-своему истолковывать внешние события и своими произвольными, в сущности, действиями сопротивляться истинному ходу вещей: затягивать – или торопить – разрешение ситуации, завязывая по пути узлы новых трагедий.

Не очень понятно, откуда возникло распространённое представление о бездействии Гамлета. Если речь идёт только о расправе над братоубийцей и узурпатором трона, то тут прав уже упомянутый философ – это было бы не разрешением, и даже не восстановлением равновесия, а всего лишь мстью, то есть продолжением трагической коллизии и распада времен.

Его задача намного труднее. «В этот ад закинут я, чтоб *всё пошло на лад*». А такое возможно только если время воссоединится, и от коллизии не останется никаких следов. Самому человеку это не под силу, ему следует действовать в союзе с трагической волей, которая разворачивается независимо от него. И уж во всяком случае не пытаться этой волей управлять по собственной инициативе.

Это при том, что он продолжает жить в предоставленных ему жизнью обстоятельствах и постоянно встречается с тем или иным искушением поступка. Подобное напряжение, если и не способно свести столь одухотворённого человека, как Гамлет, с ума, может навести на мысль об имитации сумасшествия. Разве это не действие?

Действий он совершает много – может быть больше, чем ему самому хотелось бы. Он непосредственно вовлечён в острую дворцовую интригу, жизнь дворца идёт полным ходом, в покое его не оставят, и он вынужден быть предельно осторожным, поскольку малейший его поступок чреват непропорционально серьёзными последствиями.

Одно из его волевых усилий по-видимому направлено на самосохранение, ибо на него легла вся ответственность проследить за восстановлением «связи времен» – чтоб всё вновь пошло на лад. Никто кроме него не знает, что на самом деле происходит. Его преждевременная гибель лишь ещё туже затянула бы узел трагедии. Но уж конечно движет им

не простой страх за свою жизнь, которая сама по себе не обладает для него прежним смыслом и ценностью. Из такого мироощущения выросшие слова: «Что за мастерское создание – человек!.. Краса вселенной! Венец всего живущего! А что для меня эта квинтэссенция праха?» – это не абстрактное философическое умозаключение, а продукт непосредственного личного опыта. Он совсем не уверен, что ему удастся осуществить своё предназначение и опровергнуть это горький вывод.

Отрываю себя от беседы с сожалением, но и с надеждой на завтрашнюю встречу.

Развлеките себя напоследок мыслью о том, что когда погаснет Солнце, у нас останутся всё те же восемь минут, чтобы додумать всё, что не успели. Ну, ещё двадцать секунд – в последний раз вздохнуть.

6.

Инстинктом самосохранения вероятно можно отчасти объяснить убийство Полония и, в любом случае – отправление на гибель Розенкранца и Гильденстерна.

Другой заботой шекспировского героя становится уберечь Офелию от неведомых, но неотвратимых и опасных событий, из которых ему уже не выбраться. В новом своём и, к несчастью, неизбежном качестве объекта тёмных и грозных сил он никак не имеет права связывать судьбу возлюбленной со своей.

Но посмотрите, как сложно, в два приёма обставлен им разрыв с Офелией. Прощается он с ней по-настоящему – безмолвно, исполняя некую скорбную пантомиму. Мы узнаем об этом из рассказа самой Офелии. Но и затем, при подстроенном свидании, ни она, ни мы так и не поймём, чего же он на самом деле от неё хочет, и не узнаем причин, которыми его отказ вызван. Ясно только, что связь отныне разорвана.

Ещё одно сознательное действие – попытаться спасти мать, пробудив в ней раскаяние. А ведь есть ещё и устройство представления актёров для разоблачения короля. Так что работы у него – по горло.

И всё это примеры того, как даже самые незначительные и невинные поступки становятся причиной катастроф. Во время свидания с матерью убит Полоний. Убийство Полония приводит к высылке Гамлета в Англию (навстречу гибели) и смерти Розенкранца и Гильденстерна. Разрыв с Офелией и убийство Гамлетом её отца приводят девушку к сумасшествию и гибели.

Таково высокое, убийственное напряжение трагических сил. Трудно вообразить, сколько ясности и мужества требуется человеку, чтобы ориентироваться в этом поле. Гамлету удаётся, хотя и не без потерь – и в этом ещё одно прозрение Шекспира, оставляющего своему герою вполне человеческие свойства. А трагедия тем временем на свой лад проявляет человеческие ошибки. В спокойной ситуации, случайно увидев молящегося Клавдия, принц удерживает себя от поспешного убийства. В другой раз, в горячий момент откровенного разговора с матерью, он, не задумываясь убивает подслушивающего, полагая, что это король. Но оказывается, что у трагедии – свои интересы, и убитым становится Полоний. Так Гамлет на практике постигает, сколь слепы человеческие усилия в пределах трагической коллизии.

А ещё – движущий им инстинкт настолько нов и необычен, настолько противоречит и привычным собственным правилам поведения, и вполне естественному поведению окружающих, что поневоле время от времени им овладевают сомнения: да так ли уж верно он понимает происходящее?

Просветление пришло к нему в неблагоприятный момент. Праведнику, оказавшемуся вовлечённым в кровавый конфликт, из которого он не имеет права высвободиться, не так легко поддерживать ясность сознания. То есть, ему приходится справляться ещё и с собственным человеческим естеством. Этим объясняются все его монологи, в которых он упрекает себя за бездействие, на самом деле может быть вновь и вновь с разных сторон проверяя подлинность своего первого откровения, необходимость уклоняться от произвольных порывов.

Это свидетельствует лишь о человеческом правдоподобии этого характера, о том, что он не сверхчеловек. И тем не менее, он находит в себе силы дожидаться, чтобы трагедия сама себя разрешила.

Мы никогда не знаем, чьи и какие слова или поступки, когда и в какой мере станут существенными в череде слов и действий, которые определяют развитие событий. Посему лучше было бы говорить и поступать осмысленно, осознанно. Но для этого необходимо полное присутствие в каждом мгновении, свободное от навязанных рассудком привычных реакций. Это состояние покойного внимания, ровной и постоянной готовности Гамлет описывает довольно просто: «Готовность – это всё». Но для Шекспира эта фраза обладает особым весом и значением. Он использует её дважды, в разных пьесах и в прямо противоположных ситуациях.

Перед поединком с Лаэртом Гамлет признаётся Горацио в дурных предчувствиях, и на предложение друга отменить схватку отвечает среди прочего как раз этой фразой: «Readiness is all», которая в данном случае означает и готовность к гибели.

В «Короле Лире» Эгмонт убеждает этими же словами Глостера, отказывающегося бежать от неотвратимой гибели: «Ripeness is all». И в этой ситуации они звучат призывом не поддаваться отчаянию и не смиряться с неизбежным.

Важен и лексический оттенок в обеих фразах: в первом случае автор использует производное от прилагательного «ready» – готовый, собранный, бдительный; во втором – от прилагательного «ripe» – готовый, созревший, доведённый до высшей степени полноты. При этом «readiness», активная готовность, предполагающая некие действия, оказывается более подходящей в положении подчинённости обстоятельствам, своеобразной резиновости; тогда как пассивная «зрелость» (ripeness) нужна для активного действия. А в целом понятие «готовности» включает в себя и обретение зрелости, мудрости, и открытость обстоятельствам, включая необходимые действия внутри них.

В противостоянии с силами мироздания Гамлет одерживает немислимую победу. Ценой собственной жизни – таковы, увы, ставки в трагедии, а поскольку мир пока несовершенен, оказаться в поле её тяготения мы можем помимо нашей воли и желания. В цепи событий убийство им Клавдия не является мстью или воздаянием за убийство отца. Это немедленная и никакими иными обстоятельствами не осложнённая реакция на отравление матери и на собственную гибель, обеспеченные тем же Клавдием.

Поле, однако, расчищено окончательно и коллизия исчерпана.

Особенность трагедии «Гамлет» и её отличие от всех других в том, что трагическая коллизия изживает себя полностью. Из участников истории не остаётся в живых никого. Трагически искривлённое пространство полностью очищается и расправляется. Время восстанавливается, возвращается к новой точке отсчёта. Если Дании под царствованием Фортинбраса суждено когда-нибудь вновь попасть в сети трагического конфликта – это будет означать, что некто вновь совершил запретное, нарушил предвечный закон. И это будет совсем новая история, никак не связанная с династией Гамлетов.

А заслуга в том, что всё вновь пошло на лад, целиком принадлежит герою этой истории, который, испытывая всю силу давления трагической ситуации, не предпринимает никаких самостоятельных действий, чтобы разрешить её на человеческом уровне – и таким образом создать причины для нового трагического сцепления. Во всяком случае, настолько, насколько обстоятельства позволяют, он уклоняется от подобных действий, чем и заслужил от нас поверхностное и глубоко несправедливое обвинение в бездействии.

В этом контексте как будто становится понятнее и труднодостижимое, пока стоит в одиночестве, «непротивление злу насилием».

Боюсь, что вы уже догадались, куда я вас завлекаю, и что вам не очень охота туда двигаться. Но у меня нет выхода, я должен объясниться до конца.

Есть у меня надежда, что вы успели немножко освоиться с этой необременительной привычкой, включили её в своё расписание, и она некоторым образом даже упорядочивает ваше существование.

Отметим две радикальные вехи в истории человечества, мечущегося между вопросами «Зачем?» и «Почему?». Решительный и бесповоротный отказ принимать сей вещный мир, как высшую ценность, столь выразительно прозвучавший у Экклезиаста; и выдающееся событие, положившее основания для возникновения религии религий и нового летоисчисления – приход в мир Сына Божия.

Мы останемся в пределах идей, связанных с художественным творчеством, и оставим в покое этот другой способ взгляда на мир. Но я думаю, вы обратили внимание, что бравые попытки освоить этот второй, полный глубокого смысла и динамики сюжет художественными средствами ничего к нему не прибавляют и чаще всего спускают его в низшую область увлекательного. Основой для художественной формы могут успешно служить отдельные эпизоды Евангелия, но именно как самостоятельные фрагменты удивительной истории, сопоставимые по масштабу со многими другими библейскими сюжетами: побег в Египет, крещение у Иоанна Предтечи, судьба Марии Магдалины, в конце концов – казнь праведника. В живописи это особенно заметно. Однако, сам христианский рассказ о Благой вести, пришествии Сына Божия, Его Распятии и Воскресении – не поддаётся осмыслению методами художественного творчества.

И не должен. Он относится к религии – другому инструменту постижения мироздания существующему наравне с мифом, искусством, философией и наукой. Но в самом исходном событии христианства, которое впоследствии овладело почти всем миром, есть сторона, которая, независимо от его религиозного значения, имеет непосредственное отношение к предмету нашей беседы.

Христианское толкование по древней традиции утверждает так называемый Первородный грех, помещает его в начало времён и наследственную вину за него возлагает на весь род людской. Явившийся в мир Сын Божий (в отдельной интерпретации – посланный в мир самим Отцом), добровольно берет этот общечеловеческий грех на себя и мученической смертью своей его искупает.

Не станем вникать в довольно запутанные и противоречивые догматы христианской церкви. Достаточно сказать, что у самой церкви долго не было во всех этих вопросах единого мнения, как нет его и до сей поры. В 1156 или 1157 году – то есть, свыше тысячи лет после Распятия – Константинопольский собор всё ещё решал вопрос, кому была принесена Жертва Христова, хотя само понятие жертвы уже занимало прочное место в доктрине. Решение же, что жертва принесена всей Святой Троице, вряд ли прояснило ситуацию для живых верующих. Однако, как я уже заметил – это внутренние проблемы религии, для которых необходимы иные способы размышлений.

Если же оставить в стороне эти, мистические по существу предметы, мы остаёмся наедине с историческим событием – казнью безвинного и праведного человека, называвшего себя Сыном Божиим, осуществлённая другими Божьими детьми. Жизненный образ Христа, и его учение, то есть то, что составляет самый драгоценный смысл Благовествования, принесли человечеству веру в свои силы и новое откровение о смысле мироздания и месте человека в

нём. И, судя по тому, что этот человек произвёл ни с чем не сравнимое впечатление на современников и сумел заложить основы религии религий, событие это заслуживает особого внимания по сравнению с иными многочисленными случаями казней пророков и праведников.

Кажется, именно здесь был совершён человечеством грех, преступление – не мифическое райское, а буквальное историческое, дерзко нарушившее предвечный закон и разорвавшее связь времён.

Но тогда мы вступаем в знакомые нам пределы и условия трагедии, о которых вполне способны ответственно рассуждать.

Что мы и попытаемся завтра осуществить.

7.

То, что интуитивно ощущали прежние культуры, и что они сумели изобразить, создав форму трагедии, Евангельская история проявила воочию и вовлекла всё человечество в трагическую коллизию, в которой мы существуем по сей день.

Тот отсчёт времени, который начался с новым летоисчислением, больше напоминает начало трагического представления, чем условное новое продолжение истории с открытым или внеземным концом, каковой она была в общем-то и до первого столетия новой эры.

Если принять во внимание могучие силы, вступающие в действие в таких обстоятельствах, может быть удастся попутно пролить свет и на источник проблем, которые до сих пор терзают христианскую церковь и не дают ей одержать окончательную победу.

Итак – как, по словам евангелистов, часто начинал свои проповеди Иисус – перед нами классическая ситуация завязки трагического конфликта. Казнив уникального, единственного в своём роде праведника, человечество совершило преступление, нарушило предвечный закон, и времена разорвались (как завеса в иерусалимском храме). Тем самым был приведён в действие неумолимый механизм трагедии, направленный на то, чтобы эту связь времён восстановить. И любые поступки и действия человечества обречены отныне распределяться по силовым линиям этой трагической коллизии.

Парадокс и своеобразие её заключаются в том, что одновременно с исходным преступлением родилось и его возможное разрешение – исповедуя учение казнённого, люди могут избыть свой грех, удовлетворить требования Закона и в некотором смысле действительно воскресить Иисуса Христа. Но для этого необходимо было бы прежде всего признать свою вину, покаяться в грехе распятия ещё до того, как признаваться в преданности Ему и её проповедовать. Этого требовала совесть – та самая которая является неизменным проводником извечного Закона.

Однако, этого не произошло. Единственный, кто самым радикальным способом рассчитался со своей виной был Иуда, но запомнили мы его в основном, только как предателя, и расплачивается он – только за предательство. Более того, формы, которые приобрело развивающееся христианское учение, оказались направленными как раз на усмирение этой совести. Как если бы некий инстинкт самосохранения старался всеми силами её заглушить. Самым очевидным проявлением таких усилий стало то обстоятельство, что главные участники события – те, кто вынес приговор и привёл его в исполнение, то есть религиозная и светская власть и толпа (человечество) – остались за рамками внимания, благодаря одному, двусмысленным образом прозвучавшему слову «жертва».

Из двух значений этого слова – пострадавший, мученик и нечто ценное, отданное взамен получаемого блага, церковь, едва отметив первое, избрала в качестве основного символа вероучения – второе. И такой выбор породил множество осложнений и в самой церкви, и в истории человечества, причастившегося христианству. Именно эту, значительную часть человечества я имею в виду, называя участников трагического действия. В трагедии Гамлета тоже были, например, могильщики или норвежец Фортинбрас, то есть те, кто остался в стороне от событий, и участия которых трагедия не требует.

Есть тут и ещё один странный оттенок, легко ускользающий от внимания. При самом общем взгляде на эту историю – то есть, если в двух словах изложить её сюжет в рамках христианской доктрины – в этом частном случае жертвоприношения нечто важное заведомо изъято из привычной картины. Поступок жертвования воспринимается как любое другое

обычное явление, как что-то само собой разумеющееся. Будто бы в мироздание заложен некий механизм, выполняющий это желание автоматически. И если мне пришло в голову по какой-то причине сделать себя жертвой, не возникает никаких сомнений, что найдётся тот, кто эту жертву примет. Таким образом личный аспект другого участника действия из события изымается. Неважно – кто и неважно – почему, по какому праву и из каких соображений это сделает. Достаточным основанием является одно моё желание.

Согласитесь, что такое убеждение значительно суживает горизонт мироздания.

Конечно мы вольны его суживать как нам вздумается, но то, что мы оставляем за его пределами от этого не исчезает, и угасить совесть будет совсем не просто. Она продолжает действовать, даже не будучи осознанной. Понадобилась непрерывная работа, заключающаяся в церковных спорах о смысле исходного события, чтобы сформировалась такая картина, которая позволила бы убрать из основной доктрины идею всеобщей вины. Создавались дополнительные аргументы в виде новых догматов о волеизъявлении Отца, непорочном зачатии, двойном естестве Христа, троице, воскресении, втором пришествии и грядущем всеобщем судилище. И конечно же вновь и вновь подчёркивалось абсолютное значение того райского, первородного греха. Но поскольку всё это произвольные, самостоятельные идеи – сами по себе, возможно, обладающие символическим значением – соединить их в стройную концепцию не получается. Споры о них неизбежно будут продолжаться, ослабляя и часто подменяя собой саму Евангельскую истину, пока мы не вернёмся к началу и не изживём вину креста.

Возможно, и внутри- и межконфессиональные споры, да и само разделение на конфессии – тоже свидетельство беспокойной совести. Истина Евангелия проста, но следование ей требует усилий, которые человечество – и церковь в том числе – по-видимому не склонно предпринять. Джеймс Болдуин высказал это по-своему: «Я верю в будущее совершенство человека, в Новый Иерусалим. Это всё возможно. Но – цена слишком велика. Пока мы не соглашаемся её платить».

Если смотреть на случившееся в этой перспективе – а она, как мне кажется, не менее важна, чем триумфальный марш христианства – мы обнаружим себя в самом центре мировой трагической коллизии, которая медленно движется к своему неизбежному разрешению. Может быть вернее было бы сказать, что она уже успела породить множество других коллизий в самых разных областях нашей жизни. И по сей день мы не только не пытаемся эту коллизию избыть, но, по большей части, не отдаём себе отчёта в её присутствии.

Это обычное состояние человека, попавшего в силовое поле трагедии – либо неведение, либо пренебрежительное и самонадеянное противодействие высшему Закону. Однако, как мы уже наблюдали, возможно и иное осознание и поведение.

На нас нет непосредственной вины, как не было её и на Гамлете. Но мы так же неразрывно связаны с человечеством и своей землёй, как он был связан с семьёй и Данией, и от роли своей в этой коллизии нам не уклониться. И так же настойчиво, как датский двор от Гамлета, жизнь продолжает требовать от нас поступков. Мы, в соответствии с законами трагедии, попали в переплёт, и, хотим мы этого или не хотим, от нашего поведения зависит – как, какими и чьими жертвами она себя разрешит.

Пока мы остаёмся глухи к рокоту её волн, нас могут посещать труднообъяснимые напасти вроде фантастической женщины-птицы-льва Сфинкса или мировых войн, или глобального потепления. Но пытаясь от этих несчастий избавиться, нам, подобно Гамлету,

надлежит быть предельно осторожными, чтобы не усугубить ситуацию и не вовлечь в трагический конфликт всё новые и новые поколения.

Тут необходимо вспомнить о готовности в её полном, шекспировском смысле, а она обретается, если не прозрением, то умением видеть и думать. Только этого и требует от нас Бытие. Оно вовсе не желает нашей гибели и к ней не стремится. Но и разорванным оставаться не может.

Большинство из нас считает, что всё идёт своим чередом, мы усматриваем в разнообразном развитии событий – то относительно благополучном, то пугающем – поступательное развитие, прогресс, а получается, что участвуем в представлении, о котором не имеем ни малейшего представления, если позволен будет мне ещё один печальный каламбур.

Вот и по мнению Пастернака, Гамлет в похожей ситуации догадался:

Я люблю твой замысел упрямый

И играть согласен эту роль.

Но сейчас идет другая драма...

Мы можем молиться о том, чтобы нас из неё «уволнили», но в результате будет «Так, как Ты хочешь, а не как я хочу».

И нам надлежит вести себя в качестве сознательного действующего лица в этом трагическом сюжете, буквальный исход которого нам неизвестен. В конце концов связь времен восстановится, и всё пойдёт на лад, но вполне вероятно, что по ходу дела кому-то из нас предстоит расстаться с жизнью преждевременно, и такое уже происходит. Но что же мы изумляемся, не находя оправдания и даже объяснения непонятной жесточённости человеческой души, если сами забыли тот момент, когда она впервые проявилась во всей своей отчётливости. По крайней мере, у нас есть возможность удержаться и не открывать дверей новым трагическим коллизиям.

Можно взглянуть на ситуацию и ещё в одной перспективе.

Одна из ошибок нашего суждения связана с неверным ощущением времени. Мы забываем о том, как медленно оно движется в природе, хотя иногда – очень редко – замечаем перемены, которыми оно отмечено: времена года, рост деревьев, взросление и старение человека.

Общественные перемены – в политике, технологии, всеобщих поветриях совершаются быстрее, и их темп заметно ускоряется.

События в нашей личной жизни развиваются ещё стремительнее, и поскольку они касаются нас непосредственнее всего, именно их ритмом мы склонны мерить и оценивать всё происходящее. Мы изнываем от нетерпения. И вместе с тем, нас не покидает ощущение, что мы всё время опаздываем. Нам кажется, что справедливость осуществляется слишком медленно – если она вообще ещё действует. А когда она всё же приходит, способ её осуществления может быть до такой степени непонятен, что мы уже не связываем его с вызвавшей такие последствия причиной. Обретение нашего личного благосостояния что-то слишком затягивается, а то и вовсе грозит не прийти. И мы начинаем искать способы его обрести в обход общепринятых правил, а то и закона. Люди вокруг обычно не считаются с нашими потребностями, и мы не очень высоко оцениваем их достоинства. Короче говоря, мир устроен неправильно, и самые активные из нас считают необходимым его исправить, пока не наступила катастрофа.

Иными словами, мы принимаем поспешные меры для устранения катастрофы, забывая, что катастрофа как раз и вызвана принятием мер. Мы пропускаем – или используем не по назначению – те самые несколько минут в день, когда всё и может решиться, потому что решается всё гораздо раньше принятия мер, в мысли. А мысль начинается, когда человек включает в своё сознание совесть. Когда он «стирает с таблицы памяти своей все суетные записи».

Так или иначе, мы возвращаемся в пределы всё той же необходимости мыслить.

Поэтому мне показались столь драгоценными те восемь минут, на которых настаивал Декарт.

8.

Мефистофель:

Как будто бредят все освобожденьем,
А вечный спор их, говоря точней, –
Порабощенья спор с порабощеньем.

Фауст. Часть 2

Если проделать мысленное усилие (насилие в некотором роде) и разделить целое мироздание и мир, созданный нами, с которым мы, собственно, и имеем дело, может оказаться, что в мироздании никакой ошибки нет, что только наше нежелание прислушаться к неторопливому шелесту его поступательного движения, к его настоящему времени – и этическим требованиям – побуждает нас увлечься бесконечным исправлением собственных ошибок без всякой надежды вырваться из этого замкнутого круга и, вконец замучившись, спрашивать: «Зачем всё это»?

Мы страдаем не потому, что так было задумано творение, а потому что все свои силы расходуем на сопротивление его законам. О высочайшем благе этих законов свидетельствует та непреложная истина, что вопреки нашему удручающему невежеству и упрямству, мы всё ещё существуем. Но пока нам это даровано, может быть стоит подождать с исправлениями и освоить идею, что мир создаётся заново каждое мгновение. И в каждом мгновении содержится возможность начать его создавать. Поверите ли, иногда эта идея представляется до потрясения очевидной: творение – это одновременно и нечто уже существующее, и постоянно воссоздающееся.

Идея непрерывного творения или со-творения и есть состояние сына Божия. В этом состоянии Он становится воистину воскресшим, а грех наш – искупленным.

В одно из таких счастливых мгновений и Иисус из Назарета ощутил себя Сыном Божьим, и это ощущение не покидало его до самой смерти.

Похожее мгновение переживает и Гамлет, вероятно не вполне сознавая, что именно с ним происходит в этот момент. Обстоятельства – другие и результат прозрения оборачивается иными поступками, но природа его та же.

Поэтому важнее всего в Евангелии сам Христос. Его особенность и уникальность состоит в предельном выражении связи с Творцом, которая обозначилась его чувством буквального сыновства. И это, с такой полнотой и естественностью выраженное чувство «Я – сын Отца» должно было произвести сотрясение в сердцах и душах.

Ну просто представьте себе, что некто встреченный вами говорит «Я – сын Божий» и вообразите, что у вас не остаётся внутреннего выбора: верить или не верить – так он выглядит, так себя ведёт и так говорит. Как власть имеющий. И подумайте, как пойдёт дальше ваша жизнь после такой встречи. Бога вы увидите никогда. А сына Божия... Да вот он.

Такое представление трудно получить просто от чтения Евангелий. Хотя сам факт подобных встреч там присутствует. Но вам больше скажут реакции людей на него, чем его собственные слова, переданные, в конце концов, сынами человеческими. Нового в том, что он говорит, совсем немного, только то, что начинается со слов «А я говорю вам...», и что отличается от закона книжников. Вот в эти моменты и надо постараться представить его живым. Или когда он говорит: «Будьте как я». А вовсе не тогда, когда он предвещает гнев Божий и говорит о «плаче и скрежете зубов».

«Знаю, что придет Мессия... Когда Он придет, то возвестит нам всё», - говорит ему самарянка у колодца. «Это Я, Который говорю с тобою», - отвечает Он.

Вот и всё Слово. Между Ним и истиной нет просвета, как у всего лишь просветлённых.

Он никогда не упоминал о непорочном зачатии, и никто Его не посылал. В том и величие, что Он нашёл, открыл в себе силы и власть сказать: я – сын Божий. А уж потом можно представить себе, что и – Отец послал в некотором смысле, поскольку я оказался здесь, среди вас. Не мне сказал: сходи, а вам говорит: принимайте.

Смысл христианства – личность Христа и его учение, не новое, но чисто и сильно прозвучавшее от первого лица.

Болезнь христианства – умолчание о преступлении человечества.

Отдельные примеры трагических героев нам вряд ли помогут. Да и масштаб нашей ситуации несоизмерим с их частными судьбами. Но основная природа трагического конфликта остаётся неизменной, а все они знакомы с ней личным опытом. Надевая их башмаки, бесстрашно соперживая их мукам, мы можем открыть для себя новые знания, которые помогут нам справиться с судьбой. Это ещё один повод оценить в полной мере значение и острую необходимость для нас произведений искусства – этих чудодейственных инструментов, созданных самой человеческой культурой для возрождения в человеке его творческих возможностей. Бетховен видел в них источник счастья, но надо ведь, чтобы сохранялись те, кому суждено его испытывать.

Пожалуй, пора признаться, что искусство нас немного пугает.

Угроза его – в невозможности знать заранее, как оно изменит человека, который примет вызванные им чувства без сопротивления.

Вдруг он перестанет быть самим собой? Как если бы он знал, что он такое. Может быть, он боится как раз стать им, инстинктивно предполагая, что это наложит какие-то новые обязательства и потребует от него дополнительных усилий. Но ведь он свободен, и всегда останется возможность от этих обязательств отказаться. А если окажется, что они выполнимы и плодотворны – так ведь это только обогатит его представление о самом себе.

Это немного напоминает знаменитый «прыжок веры», тоже не дающий никаких гарантий. Только здесь результат заведомо не может быть плохим.

Однако, будем справедливы. Искусство, конечно же, не единственный способ обрести истину. Нам в помощь даны и наука, и философия и, разумеется – религия, которая утверждает, что именно ей известны пути спасения человечества и его конечная цель.

Допустим, мы слишком увлеклись своей идеей, и правы не мы, а христианская церковь. Посмотрим, к чему пришла в результате долгих препирательств ею сформулированная доктрина, и какое разрешение предсказывает нам путь, ею предлагаемый.

Рано или поздно мир ожидает конец, и мы окажемся в Царствии Божиим, которым безраздельно владеет Творец, то есть, где нет места злу, страданиям и даже смерти.

При переходе состоится Божественный суд, называемый ещё «Страшным», который оценит наше прежнее существование, производя отбор овец от козлищ, и пропущены в Царствие окажутся не все, а лишь те, кто преданно ждал его наступления и схоронился от греха. И, следственно, цель человека – продержаться до этих неведомых времён, ведя благочестивую жизнь и надеясь на справедливый Божий суд.

Как если бы одна эта задача уже не казалась непосильно трудной и не особенно увлекательной, перед концом мира зло чрезмерно усилится, а Церковь земная, предназначенная помогать человеку, крайне ослабеет. Но в конце концов Иисус Христос вновь вернётся на землю, все люди воскреснут, и совершится над миром Страшный суд. Дьявол и его сторонники будут осуждены на вечные мучения, для праведников же начнется вечная, блаженная жизнь в Царстве Божьем.

Итак, цель – райская жизнь, с чего всё и начиналось.

Но почему Церковь земная крайне ослабеет? Очевидно имеется ввиду весь сонм праведников, которые выдержат до конца. Отчего же они так обнищают силой? Благовествование содержит светлую идею Божьего сыновства, но, как бы сомневаясь в человеческой стойкости, предупреждает о возможном наказании. Завершающее же Откровение Св. Иоанна не оставляет никаких сомнений в том, что Евангелие оказалось человеку не по силам, отражает отчаяние любви в отсутствие веры и видит спасение лишь в высшем вмешательстве.

Живущий сегодня человек, христианин, может в связи с этим сделать единственный вывод: выбора нет – раньше или позже нас ждут катастрофические времена, спасение может прийти только свыше, вся ценность и задача веры – возможность уцелеть, а наградой станет блаженство праведников на обновленной Земле, где Бог отрет всякую слезу с очей страдальцев, где не будет уже ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни.

И ни слова о том, что *будет*, чем можно будет человеку заняться. Блаженствовать – не занятие. Я не настаиваю на подробностях, но из того, что нам уже известно о самих себе можно сделать вывод об обширных способностях и талантах человека, и похоже, что они окажутся больше не нужны.

Если быть чуть настоятельнее, можно от христианских толкователей добиться таких, например, пояснений: там ожидает вся полнота бытия, как сфера свободного творчества – хранить и возделывать Рай. Хранить... Разве ему что-то ещё угрожает? А возделывать... Что же тут возделывать, куда дальше творить? В любом случае, для того, чтобы это делать, надо бы, по меньшей мере, сначала изучить, что же это создано, то есть – обратиться к познанию, что, собственно, человек и попытался осуществить. Кончилось это плачевно.

Ещё предлагается, что человек там окажется вновь способен к полноте богообщения, к которой был изначально призван. Но трудно вообразить, в чём состояло бы богообщение Адама, если бы он внял предупреждению и остался в Раю. Не очень понятно, что Создатель может найти интересного в общении с таким упрощённым существом, которое начинает напоминать простую игрушку для развлечения?

Так что никаких занятий не предвидится, а жизни этой не будет конца.

И вот ради такой развязки был казнён Сын Божий. Через эту жертву, принесённую ради человечества, достигается цель, ради которой и был человек создан Богом.

Что за цель? Ради чего человек был создан? Согрешить и стать воссозданным, воскрешённым, освобождённым от смертности? Он уже был таким в Раю, и тогда надо убрать оттуда Древо познания, если не начинать сначала ту же историю со свободой и искушением. А если человек на этот раз послушается и не вкусит, то никакого человечества больше и не предвидится ни на земле, ни где бы то ни было. Да просто само присутствие этого странного древа тоже остаётся необъяснённым. Согласитесь, что такой проект, осуществлявшийся многие тысячелетия, остаётся непонятным. И когда нам говорят, что тут – тайна, что пути Господни неисповедимы, это звучит довольно беспомощной отговоркой.

Но есть одна многообещающая тайна, одно, скрытое за массой основного текста, место в Апокалипсисе – этой последней, мрачной главе Священного Писания, которое могло бы пролить свет на множество загадок, а возможно – вообще отменить всё это пророчество.

Речь тут идёт о самом Страшном суде, который уже начал разворачиваться, хотя до последней битвы, Армагеддона, дело ещё не дошло:

«И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать; но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». (От. 10.4)

И Иоанн не записал, и до сих пор мы этого не знаем.

Есть, стало быть, нечто самим Откровением скрытое. А тогда у нас есть право сомневаться во всех предыдущих построениях, и, в надежде когда-нибудь услышать всё же, что возвестили «семь громов», начать сначала. Начать сейчас.

Но давайте немного успокоимся. Завтра нам будут снова дарованы эти считанные минуты.

Или уже не будут.

9.

Вы заметили конечно, что мы уже миновали нашу восьмую встречу, и возможно надеялись, что к этому моменту наступит ясность – что-то вроде откровения Восьмого дня. Вы не ошиблись. Оно поселилось здесь с самой первой встречи. Только следует помнить, что ясность – если хотите, можете называть её истиной – это не вещь, не предмет, который можно взять в руки, надёжно спрятать и доставать в периоды смятений. Она существует в движении, растёт и развивается вместе с нашими поступками и мыслями, и наше устойчивое стремление к ней как раз свидетельствует о её несомненном существовании.

Жажда, как сказал австрийский писатель Франц Верфель – лучшее доказательство существования воды. Если бы в мире не было воды, человек не мог бы чувствовать жажду.

Теперь я готов пойти вам навстречу и признать, что есть у нас право, когда мы получили некоторое представление о том «почему», когда наша совесть и помыслы чисты, задуматься на эти несколько минут о том, *зачем* всё это существует. То есть, если не ходить вокруг да около – зачем существуем мы, к чему могут быть устремлены наши благие усилия. Согласитесь и вы, что интонация вопроса несколько поменялась, он звучит спокойнее, из него ушёл надрывный оттенок горечи. Но вдруг становится очевидным, что спрашивать некого, что вопрошающий и отвечающий – это одно лицо. Сама жизнь ставит перед нами этот вопрос, и это нам надлежит на него отвечать. А неповторимость каждого человека, ситуация, в которой он находится в каждый данный момент, и их своеобразие как раз и являются основными составляющими смысла человеческой жизни.

Нужно только безоговорочно принять два условия.

Первое: человек чувствует потребность в творчестве и испытывает радость от её удовлетворения. Если такой потребности нет, он не соответствует своему статусу «подобия Божьего» и не может в полной мере считаться человеком. Под творчеством же имеются в виду самые разные области применения человеческих способностей – главное, чтобы эта деятельность приносила в мир нечто новое, не существовавшее прежде.

Второе: человек не может творить против своей совести.

Мы много раз убеждались, что человек способен быть абсолютным чудовищем.

Он сумел сотворить зло и сильно укрепить его в мире. Родилось оно в тот момент, когда человек впервые обнаружил, что можно быстрее, чем ожидалось, приобрести всё, что он считал для себя необходимым, за счёт других людей – их слабостей, доверчивости или нерасторопности. Когда у него это получилось, пример оказался соблазнительным, и вскоре рядом с привычным добром в мире поместилось зло. С тех пор каждый рано или поздно встаёт перед выбором, которого прежде не существовало. А у добра появилась необходимость быть заметным, чтобы в таком выборе соперничать со злом, что ему по природе его несвойственно, ибо добру не нужно доказывать свои преимущества – и ему это не очень удаётся. Зло же, охотно пользуясь и этим обстоятельством, как уже было отмечено, успело очень широко и прочно обосноваться.

В основе своей человек от рождения расположен к добру, и ему легко было бы совершать этот выбор, раз уж он он ему с некоторых пор предложен, но он естественным образом рассчитывает на опору в равном, по меньшей мере, присутствии в мире добра и очень часто такого присутствия не наблюдает. Во всяком случае, зло ведёт себя гораздо более вызывающе и громко. А чувство опасности, сопутствующее иногда его предприятиям,

сообщает ему даже оттенок некоторого воодушевления, иллюзию жизненной силы. При этом, зная об отсутствии у себя подлинных прав, оно научилось сочинять самые разные обоснования своего изначального, домирного существования, используя такие сложные инструменты сознания, как философия и даже религия, которая помогла, например, злу придумать образ вечного Дьявола – романтического соперника Творца. Да и сама, как бы основополагающая идея Первородного греха, перешедшая из Ветхого в Новый Завет, хитроумно распределяет зло на всех без исключения. Но оно началось не в Раю, а здесь на Земле, как и первый общий грех случился уже здесь.

Злу ничего не светит. В отличие от добра у него нет онтологического основания, оно не укоренено в бытии и является всего лишь продуктом человеческой деятельности. Так что переоценивать его засилье не стоит. Просто естественное поведение человека вдруг приобрело возбуждённую, нервическую окраску противостояния злу. Если и говорить о противостоянии в мире и о выборе, стоящем перед человеком, то это выбор между Бытием и небытием, между человечностью и природной инерцией биологической человеческой заготовки.

На самом же деле никакого выбора нет. Есть совесть, языком которой говорит добро, и этот негромкий голос каждый из нас всегда отчётливо слышит, и он не имеет ничего общего с ожиданием наказания. До тех пор пока человек мотивируем страхом наказания или надеждой на вознаграждение – совесть еще не сказала своего слова. А пока зло ещё буйствует, достаточно всего лишь настойчиво использовать уже созданный нами по совету добра инструмент права. И поскольку он несовершенен, постольку стараться совершенствовать его, прислушиваясь всё к тому же голосу совести.

«Но как же боль и смерть? - спросите вы, - Не ярчайшее ли это проявление зла?»

Боль и смерть – не зло, а естественные условия нашего существования в этом мире, они совсем не обязательно должны приносить невыносимые страдания. Это ещё одна пагубная уловка зла – даже такие основополагающие явления обращать себе на пользу, как бы укореняя, проталкивая свои права к самым основам мироздания.

Мир был создан именно таким неспроста и не по чьему-то злему умыслу. И даже обыкновенный здравый смысл может легко продемонстрировать нам, что удивительный механизм непрерывного биологического воспроизводства неизмеримо сложнее и этически предпочтительнее беспредельного размножения вечной жизни. Нас ведь страшит не смерть сама по себе, а преждевременная или мучительная смерть. Можно конечно спорить о том, сколько следовало бы человеку в среднем жить – сто лет или двести, или пятьсот, но это спор праздный, несерьёзный. Мы ведь знаем, что человек способен совершить свою выдающуюся судьбу и в 40, и в 30 лет, так что можно считать, что срок нам предоставлен со щедрым запасом.

Что же касается боли, то простейшее из объяснений очевидно: мы сами готовы согласиться с охранительной ролью боли, предупреждающей нас об опасностях, окружающих нас в природном мире со всех сторон. Нетрудно вообразить, что в отсутствие болевых ощущений человек не выжил бы неизбежного соприкосновения с огнём, холодом, ранящими предметами. И даже более сложные болевые ощущения исходящие от организма и предупреждающие о начале болезни как будто служат той же цели биологического выживания. В этом отношении проект мироздания, основанный на живой природе выглядит безупречным.

Труднее оправдать боль, сопутствующую неизлечимой болезни. Или боль предсмертной агонии. И та и другая ни от чего не спасают, являясь скорее предвестниками

неотвратимого конца. Даже если мы соглашаемся принять конечность нашей жизни, как фундаментальный закон природы, остаётся неясным, почему сам по себе печальный акт расставания должен сопровождаться ещё и физической болью.

Можно было бы к одному из природных законов отнести и некое необходимое равновесие противоположных ощущений и согласиться, что раз уж нам выпадает в жизни некоторая доля удовольствий и радостных переживаний, надо же чем-то за это платить. А среди возможных форм расплаты боль, с точки зрения не склонной слишком задумываться о средствах природы, пожалуй будет самой простой и естественной.

Но тут приходится вернуться к вопросу о выборе. Согласен ли любой из нас искать удовольствий и радостных переживаний, твёрдо зная о последующем мучении? Хотя есть среди нас вероятно и такие. Разумеется, никто не живёт постоянной мыслью о грядущем страдании и уж безусловно не вспоминает о нём в счастливые мгновения. Но если мы всё же говорим о самом человеке, во всей сложности его бытия, в его двойственной принадлежности и к природе, и к высшей созидательной силе – можно спросить: что сама эта высшая сила имела в виду, награждая своё уникальное творение обречённостью на такой мучительный баланс?

Одна из догадок может быть связана со свойственной человеку слабостью и с заложенным в мироздании механизмом, позволяющим такую слабость, если не преодолеть, то хотя бы не поощрять.

В целом обычного человека смерть пугает. Следует приложить много интеллектуальных и духовных усилий, чтобы ослабить этот страх тем или иным представлением об устройстве мироздания, о соотношении времени и вечности, о бессмертии каждой личности. Не всем это по силам, и далеко не все склонны совершать такой труд. А течение событий тем временем приводит каждого к различной, часто никак не соответствующей обстоятельствам его жизни и его достоинствам мере испытаний, нередко включающих и физическую боль и душевные страдания от одиночества, от невыносимых, неоправданных утрат.

Если представить себе, что смерть, конец земного существования, а с ним и возможности вновь и вновь встречаться со страданием – легка, никак не связана у человека с мыслью о боли, скольким из нас показалось бы желанным покинуть этот эксперимент, сохраняя глубоко внутри хотя бы и самую слабую, но надежду, что не всё со смертью кончается? И сколько задумавшихся о самоубийстве сохраняли бы мужество и терпение выносить эти муки до тех пор, пока мера их не превысит даже страх предсмертной агонии?

Но по замыслу Творца, как представляется, у человека есть миссия, и за то время, которое ему отпущено природой, он должен постараться её осуществить. В конце концов, предполагается, что это совместная с Творцом миссия, добровольное и воодушевлённое сотрудничество. Самовольный, односторонний отказ от него не делает человеку чести, как бы ни склонен он был в трудные минуты об этом забывать. А посему, не прямым, опосредованным приёмом дружественная рука Всевышнего удерживает его от этого шага, отстраняет от мысли о смерти, делает её непривлекательной.

Однако, есть и такие, кто держит данное слово и не помышляет о бегстве. Чем следует объяснять их предсмертную муку? Их не так уж мало. Иногда их самосознание так глубоко, что они способны и эту боль ставить в ряд со всеми остальными потерями в противостоянии с природой во имя возможности участвовать в Творении. Но возможно они знают, что осуществимо и такое мироздание, в котором отсутствовали бы невыносимая боль, преждевременная или насильственная смерть и опустошающие страдания. И как раз его-то,

может быть, и есть шанс у человека сотворить, руководствуясь опытом того мира, в котором он себя обнаруживает, включая все его стороны. Творчество же как раз и предполагает овладение энтропией, взаимодействие с хаосом, излечение болезней, осуществление этических требований – неограниченное совершенствование мироздания.

Нет, это будет не вечным блаженством и безмятежным богообщением, а всего лишь благородным и благодарным творческим трудом созидания небывалого.

Стоило ли соглашаться участвовать в этом эксперименте, каждый решает сам. Но, пожалуй, исполненный добра Высший Разум не стал бы творить этот мир, не получив нашего согласия.

В прозрениях Христа это звучит так:

«Прославь Меня Ты, Отче... славою, *которую Я имел у Тебя прежде бытия мира*».

10.

...Мы играли вам на свирели, и вы не плясали;
мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали.

Евангелие от Матфея 11:17

Сомнений нет – весьма значительная часть человечества продолжает творить зло – или, пользуясь нашим определением, медлит принять человеческий облик. И столь же несомненно, что человек по-прежнему остаётся способен на проявления абсолютно бескорыстного добра. Это существо, постоянно принимающее решение: что же оно такое. Но вот это устойчивое тяготение сынов Божьих к добру и есть единственное, о чем имеет смысл думать.

В вопросе «Зачем всё это» очень остро звучит персональный мотив. В сущности, это вопрос «зачем *мне* всё это?», попытка отыскать смысл своей жизни, создав цельный, непротиворечивый образ самого себя, не выходя за рамки собственных ощущений, которые в данный момент переполнены страданием. «Подобно тому как бумеранг возвращается к бросившему его охотнику, лишь если он не попал в цель, так и человек возвращается к самому себе и обращает свои помыслы к самореализации, только если он промахнулся мимо своего призвания...», - писал переживший нацистский концлагерь психолог Виктор Франкл.

Но *заставить* его обрести смысл нельзя.

Никого нельзя заставить прислушиваться к совести.

Никого нельзя заставить обратиться за помощью к искусству.

Человек, в основном, доволен своей жизнью. А то, чем бывает иногда недоволен, он, как ему кажется, вполне в силах исправить сам.

Почему бы не оставить его в покое?

И кто мы, собственно, такие, чтобы сомневаться в справедливости такого положения вещей? Что такое нам известно, что свидетельствовало бы о неблагополучии этого положения, что не даёт покоя нам?

Вот что.

Весь сонм гениев человеческого творчества, кричащего о гармонии – и приглушённая, не соответствующая пронзительности этого клича реакция человечества. Великие произведения искусства, ошеломляющие открытия науки, глубокие откровения философской мысли – они ведь рождаются не зря и свидетельствуют о необъятных глубинах человеческого духа. И непонятно, необъяснимо нежелание человека услышать и вместить этот зов.

Может быть, это страх предчувствия, что, вместив, он вынужден будет осознать свои, неведомые ему до сей поры возможности и, не дай Бог, реализовать их. Он ведь видит, на какие умопомрачительные зверства способен их употреблять. Разве не опасно было бы эти возможности расширить до бесконечности?

Но это «don't rock the boat» и «как бы чего не вышло...» грозит умертвить живую человеческую душу. Сам себе продемонстрировав собственные разрушительные способности, человек оробел, оставив себе лишь внешнюю свободу развивать то, что уже существует, чем, худо-бедно, научился управлять. И остаётся глух к призывам, обращённым к самой его сущности, к его совести и сердцу. Мы не строим дом, ибо презрели тот камень, который должен был бы встать во главу угла.

Мы даже ухитрились создать наш собственный, редуцированный вариант Мессии.

Как заметил Джордж Оруэлл, всё шире распространяется мнение, что «неучастие», то есть, некоторая отстранённость от повседневности, обычно связываемая с просветлением и ярче всего выраженная у буддистов – лучше полного приятия земной жизни, и что избегает этого пути обыкновенный человек только из-за его трудности. Другими словами, что рядовой человек – это несостоявшийся святой. А затем, предлагая своё видение ситуации, он утверждал, что многие люди как раз искренне не хотят быть святыми, и, возможно, некоторые из тех, кто достиг святости или стремится к ней, *никогда не испытывали сильного искушения быть людьми.*

По мнению Оруэлла, главным мотивом «неучастия» может быть желание уберечься от страданий жизни и, прежде всего, от любви, ибо любовь – тяжелый труд. И тогда немудрено, что их не особенно заботят проблемы человеческого опыта во всей его сложности и полноте. Они следуют напрямик к просветлению, достигнув которого, мы перестаём придавать особое значение тому, что с нами случается в жизни, и уберігаем себя от страданий и, прежде всего, от любви. Обожглись, так сказать. А ведь на этом построены все так называемые современные духовные движения, и популярность их огромна. Остальные же искренне не помышляют о святости. Но многие и о человечности не помышляют.

Когда я думаю о Библейском «не упоминай имя Господа всуе», мне слышится в этих словах не столько запрет, сколько совет, напутствие.

Мир, в котором мы существуем, вовсе не враждебен нам, он лишь устроен на определённых принципах. Если скрытое от нас Бытие лежит в основе всего сущего, а не является лишь развлечением, приятным и бесплатным подарком нашему несовершенству – у нас должны быть перед ним обязательства. Перекладывая выполнение этих обязательств на других, более совестливых, человек изымает себя из уравнения. И тогда «упоминание всуе» – это действительно пустые слова, которые можно истолковать, как «да, да, может быть, что-то там есть, но это не для нас». Бытие отвечает: «Очень хорошо. Дело ваше. Не сетуйте, однако, если у вас ничего не выйдет. Созданы вы не такими».

Из этого, собственными руками созданного ощущения богооставленности и рождается обычно вопрос «зачем всё это»?

Так можно ещё долго жить, атрофируя постепенно чувствительность сердца и совести, утрачивая особенности, которые отличают человека от остального природного мира, сливаясь с окружающей средой (от которой тоже будет оставаться всё меньше и меньше), и обесценивая Творение, которое вероятно возобновится где-то, но уже без нас. Винить в этом будет некого, кроме самих себя. Шанс нам был предоставлен, и именно об этом нам без устали, до самого конца продолжают кричать гении – они-то этот шанс используют до конца, какой бы печальной ни оказывалась иногда их собственная судьба.

В Соединённых Штатах есть программа Общественного радио, которая двадцать четыре часа в сутки передаёт классическую музыку. Такое вещание требует немалых денег и существует эта станция отчасти на правительственную субсидию, но в основном на пожертвования различных организаций, предприятий и отдельных граждан. Рекламы в этих передачах практически нет, если не считать рекламой имена меценатов. Но учитывая своеобразие аудитории, трудно предположить, что такая реклама рассчитана на какую бы то ни было экономическую продуктивность.

Устойчивое присутствие в эфире этой программы является для меня абсолютной экзистенциальной загадкой. Только если поверить, что за её деятельностью внимательно

следит и всячески её опекает всемогущая Октава, невидимый Восьмой день, терпеливо дожидаясь, чтобы мы эту музыку услышали, можно избавиться от недоумения.

Но ведь и симфонии, и сонаты, и квартеты – тоже эфемерны, даже их нотная запись – нема. Однако, что-то заставляет музыканта их читать и воспроизводить в звуке. Такова заложенная в них требовательная энергия встречного творчества. Такова же отчасти богоподобная роль драматурга. Можно найти элемент такой требовательной энергии и в поэзии – с явной тенденцией к звучанию, к переходу в новую художественную форму.

Пользуясь языком символов, можно сравнить идею мироздания с ещё бесформенной, но полной потенциальной идеей симфонии, которая могла бы оказаться не записанной, не исполненной и не услышанной. Но она была написана и уже исполняется – не всегда лучшими оркестрами. И иногда остаётся не услышанной...

В этой же стране родился термин «музыка обоев» – “wallpaper music” или даже уродливое и непередаваемое “muzak” – подобие минималистских композиций, непрерывно звучащих в лифтах, в приёмных врачаей, магазинах и других общественных местах. Предполагается, что она действует умиротворяюще и не требует особого к себе внимания. Это следующий шаг по направлению к тьме бесчувствия. Боюсь, что для многих и круглосуточная программа классической музыки часто становится такими обоями, незаметно присутствующими на заднем плане.

Человек слишком много знает и научился подстраивать к своему знанию всё, с чем приходится встречаться ежедневно. И если оно хоть отчасти непохоже на то, что было вчера, он уверен, что это пройдёт, что скоро всё будет по-прежнему. Как надо. Такая надежда мешает человеку интенсивно воспринять то, что есть. Волнение он откладывает на завтра.

Мы тоже переносим на завтра продолжение разговора, но, по крайней мере, мы сумели договориться, что не пропустим это «завтра» и попробуем ещё раз себя испытать в течение считанных минут.

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся», - говорил Тот, Кого мы распяли.

Если видеть в «утешении» не столько успокоение, угашение страдания, сколько обретение смысла, об утрате которого мы, собственно, и проливаем слёзы, можно прочесть это с конца: чтобы «утешиться», то есть обрести истинный смысл творения, бытия и существования, необходимо так разволноваться, чтобы заплакать.

Проблема поставленная трагедией – это, в сущности, проблема становления человека, полагающая его обычное, знакомое нам существование, которое мы не задумываясь называем человеческим – всего лишь рабочим процессом, а результатом – вхождение его в человеческое измерение. Это нам надо сейчас иметь в виду, чтобы в разных обстоятельствах по крайней мере не затягивать узел туже и не порождать новых трагических коллизий, чтобы восстановить порванную нами связь времен – или, скорее, дать ей восстановиться с наименьшими потерями.

Преисторические рыбы не предполагали, что могут оказаться способными жить на суше и даже не знали о её существовании. Их заставила выбраться на берег перемена природных обстоятельств, так же как позднее вынудила отрастить крылья и подняться в небо. Но они не обладали сознанием, и им приходилось дожидаться, пока их вынудят к преобразению природные условия. Сама возможность преобразования предполагалась всегда.

Что может вынудить самолёт продолжать разъезжать по аэродрому, как автомобиль, и отказываться взлететь – вопрос, достойный восьми картезианских минут.

Пожалуй, это всё, что я смогу сказать.

На этот раз я оставляю вас раньше времени. Вы уж как-нибудь постарайтесь провести эту следующую минуту, не уклоняясь от размышлений.

